

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...”

Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова

V. “Пушкин – это наше прошлое”

Характер у Ю. П. был нелёгкий. Все мы, наверное, помним, как он перечеркнул литературные судьбы многих поэтов и не только своих однофамильцев:

*Звать меня Кузнецов. Я один,
Остальные — обман и подделка.*

Многих известных современников не пожалел, иногда ради красного словца, а иногда и по делу: Ахматову, Цветаеву, Леонида Мартынова, Винокурова, о которых что-то цедил сквозь зубы с демонстративным высокомерным пренебрежением. А чему удивляться? Он и Александра Блока не пощадил, и даже о самом Александре Сергеевиче не раз пытался судить свысока.

Из воспоминаний скульптора П. Чусовитина:

“17 ноября по телефону звонит Кузнецов:

– **Что делаешь?**

– Пишу статью и дошёл до Пушкина...

– Ну, и зря. В 1921 году вымели всех дворян, и вместе с выметенной дворянской культурой кончился и Пушкин. Пушкин, конечно, гений, это непоколебимо ясно, поэзия ведь не умирает, как никогда не погибает и народ, но он остался в сложном закате дворянской культуры XIX века, и, заметь, с XIX века не было сказано ни одного нового слова о Пушкине. Пушкин – это наше прошлое, он как поэт античного типа принадлежит русской античности, в нём мало и христианского, если на то пошло, он как бы вылитый античный монолит. И он отнюдь не был пророком. А если и был, то что же напроорочил? Движение катастрофических событий и сама революция произошли не по Пушкину, не по вездущему внутреннему устремлению этого человека, поэтому его отдельные попытки пророчествовать оказались несостоятельными. Нет-нет, поэта пушкинского типа больше не будет. Это личность именно поэтическая, а не социальная. Вот так, дорогой мой.

Мы, русские, ещё не выработали нового цвета культуры, сравнимого с Пушкиным, а пока быдло, говоря по-польски, или мужичьё творит,

Продолжение. Начало в №8 за 2014 год.

так сказать, что попало, им ведь нужно как-то утвердиться перед громадным океаном неизвестности.

Зайдя через некоторое время в мастерскую и найдя на столе записанный с его слов текст, приписывает своей рукой: **“Революцию напроорчил пушкинский “пророк” своим змеиным глаголом (Ю. К.)”**.

А ведь размышлениями о том, что “вместе с выметенной дворянской культурой” “в 1921 году” “кончился и Пушкин”, в те времена баловались многие строители новой эпохи от Маяковского (“Сбросим Пушкина с парохода современности”) до Луначарского (“Пушкин не покинул до конца аристократических позиций”). Читая “воззрения” Юрия Кузнецова о Пушкине, поражаешься: неужели он не знал оценок пушкинского творчества Фёдором Михайловичем Достоевским, сделанных им в “Дневнике писателя” и, конечно же, в знаменитой Пушкинской речи?

“Пушкин – это наше прошлое”? Не может быть, что Кузнецову и гоголевское предсказание о Пушкине как об идеале русского человека, который нам “явится через двести лет”, не было известно. Не верю.

Как не верю и тому, что он, великий книголюб, не знал слов Достоевского: **“По-моему, Пушкина мы ещё и не начинали узнавать: это гений, опередивший русское сознание ещё надолго”**.

Читая размышления Юрия Кузнецова о Пушкине, записанные Чусовитиным, приходится спорить чуть ли не с каждой кузнецовской мыслью: **“В нём мало и христианского, если на то пошло. Он как бы вылитый античный монолит”**. А тут хочется сказать: от “античного монолита” слышу! Он ведь и сам “вытащил из лба золотую стрелу Аполлона”, он ведь и сам восхищался Европой, плывущей по Средиземному морю на спине быка-Зевса, он ведь и сам на Золотой горе сливал в свою чашу опивки из чаш Гомера, Софокла и Пушкина. В своём убеждении об “античности Пушкина” Поликарпыч упорствовал всю жизнь.

“– Ну, что, я убедил тебя, что Пушкин – не христианский поэт? – Он даже не дал мне ответить и тут же продолжил:

– Я тебе представляю весь строй стихов, вдохновлённых Аполлоном, а ты пытаешься этому противопоставить несколько поздних стихотворений” (из воспоминаний Сергея Куняева).

Получив “крещение стрелой в лоб от Аполлона”, Юрий Поликарпович обречён был заявить: **“В небе Пушкина царит Аполлон с музами”**...

Но Александр Пушкин, много раз присягавший в молодости на верность Аполлону, в свои тридцать лет (!) уже расстался с аполлоническими соблазнами:

*Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображениея.*

*Один (Дельфийский идол) лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.*

*Другой — женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон — лживый, но прекрасный...*

Вот так возмужавший и якобы легкомысленный Пушкин расставался с кумирами своей молодости: с Аполлоном и Афродитой – изображениями “двух бесов”. У Юрия Поликарповича этих бесов, живших рядом с ним чуть ли не до конца жизни, было куда больше.

Да и христианское понимание мира у Пушкина заключается не только в нескольких евангельских стихотворениях последних лет. Всё его творчество после 1825 года – стихи, проза, драматургия – изобилует героями, которые овладевают любовью читателей и вознаграждаются за своё смирение, милосердие, за то, что живут по совести, за то, что верны чести и долгу. Это отец Петруши Гринёва и сам Петруша Гринёв, и вся семья коменданта Белогорской крепости Миронова, и верный друг и слуга молодого барина Савельич, и трогательный в своём простодушии житель села Горюхина Иван Петрович Бел-

кин, и Пимен-летописец, и юродивый Николка, и Татьяна Ларина, и чеченец с христианской душой Галуб, и кроткий, смиренный старик из “Сказки о золотой рыбке”, это и сам Пушкин, призывавший “милость к падшим”, – словом, это отнюдь не античные герои, это русские православные люди. **“И он отнюдь не был пророком, его отдельные попытки пророчествовать оказались несостоятельными”**, – якобы говорит Кузнецов Чусовитину о Пушкине. Но разве слова Пушкина о революционерах: **“Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка – полушка, да и своя шейка – копейка”**, – не есть глубочайшее пророчество, касающееся русской истории? А разве “Медный всадник” и “Борис Годунов” не являются творениями, насыщенными и пророческими предчувствиями, и пророческой волей?

Кузнецов в данном случае понимает Пушкина подобно крестьянину Сергею Есенину, задумавшему своего “Пугачёва” чуть ли не в противовес “дворянину Пушкину” и сказавшему, по словам одного из его современников, что он **“писал свою поэму безо всякой любовной интриги... Перечитывая материалы Пугачёвского бунта, я вижу, что Пушкин был во многом не прав. У него была своя дворянская точка зрения. Пугачёв был гениальный человек, а у Пушкина это как-то пропало...”** Да ничего не пропало у Пушкина! Восхищаясь широтой души и мощью пугачёвского характера, мы одновременно ужасаемся его жестокости, его бесчеловечной и безбожной способности проливать ради красного словца кровь людскую, как водицу... В конце концов, когда перед казнью народный вождь возвышается до покаяния и просит у православного народа прощения, мы скорбим, но понимаем, что так всё и должно было случиться.

А чего стоит обмолвка Поликарпыча из поэмы “Золотая гора” о том, что пировавший на Олимпе рядом с Гомером, Софоклом и Дантом Пушкин “пригубил глоток, но больше расплескал”? Если это новое слово о Пушкине, то надо заметить, что Александр Сергеевич пил из своей, ему предназначенной чаши, а Юрий Поликарпович сливает из разных чаш некий “концентрат поэзии” – “осадок золотой”; кроме того, если Пушкин что и расплескал, это было то моцартианское, что и должно расплёскиваться во все четыре стороны света: “Ты, Моцарт, Бог / и сам того не знаешь!” У Кузнецова тоже были в жизни мгновенья, когда он “расплёскивал” и не жалел об этом:

*Бутылку оземь я разбил,
Да так, что недра задрожали.
Кубань родную разлюбил,
Да так, что бабы завизжали.*

*Ушёл я, голову склоня,
Под мелодические визги.
Пускай Кубани на меня
Плевать... Зато какие брызги!*

Тень Пушкина, его образы и даже строчки после легкомысленного обращения с ним в “Золотой горе” стали постоянно вторгаться в творчество Кузнецова.

*Мелькнул в толпе воздушный Блок,
Что Русь назвал женой,
И лучше выдумать не мог
В раздумье над страной...*

“И лучше выдумать не мог” – четвёртая строка первой строфы “Евгения Онегина”. Каким чудом она сюда залетела? Возможно, это озорные проделки Александра Сергеевича? А это?

*Выходя на дорогу, душа оглянулась:
Пень иль волк, или Пушкин мелькнул...*

Наверное, то, что Пушкин поставлен рядом с “волком” и “пнём”, есть ре-

бьяческое отмщение ему за то, что влезает в кузнецовские стихи, когда надо и когда не надо, не спрашивая разрешения у Поликарпыча. Правда, и Поликарпыч ни у кого никаких разрешений не спрашивал, когда обращался с чужими строчками и образами, словно с сырьём для своих откровений. Вот кузнецовское стихотворенье “Покаянный вздох”:

*Тридцать лет олимпийского пьянства
Изнутри мою душу трясли.
Стыд и скорбь моего окаянства
Стали тягче небес и земли.*

*Из меня окаянные силы
Излетают кусками огня.
У креста материнской могилы
Рвёт небесная рвота меня...*

Оно написано не без оглядки на знаменитое пушкинское: “И с отвращением читаю жизнь мою, / я трепещу и проклиную...”, а также явно перекликается со словами Емельяна Пугачёва, приведенными Пушкиным: “Богу было угодно наказать Россию через моё окаянство”. А “олимпийское пьянство” — это, конечно, не только воспоминание о том, что поэт жил на Олимпийском проспекте, но и о тех временах, когда он застольничал на Олимпе с богоподобными олимпийцами.

*Покаяния вздох покидает
Эту землю для горних высот,
Где, быть может, Архангел поймает
И до Бога его донесёт.*

Опять же без пушкинского шестикрылого Серафима — никуда, о чём свидетельствует и последняя строфа, добавленная в 2003-м, смертном году к стихотворению “Стук над обрывом”, написанному в 1979-м:

*Головою о двери он бился,
И открылись они перед ним.
И его, чтоб совсем не разбился,
Подхватил на лету серафим.*
1979 — 2003

Мировоззренческий спор Поликарпыча с Пушкиным то исчезал, то возникал снова, продолжаясь всю жизнь. В ответ на пушкинское: “Поэзия, прости, Господи, должна быть глуповата” (а скорее, “простодушна”. — Ст. К.), — каждое стихотворение Кузнецова, казалось, кричало: “Она должна быть мифологична! Символична! Глубокомысленна! Загадочна!”

В стихотворении “Здравица памяти”, посвящённом скульптору Чусовитину, дерзнувшему снять с лица поэта гипсовую маску (при жизни и, конечно, с согласия поэта)¹, Кузнецов продолжает этот спор, утверждая, что, в отличие от “золотого античного века”, человек века современного — и XIX-го, и XX-го —

*<...>В беспамятстве гордыни начал славить
Себя: живым стал памятник ставить...*

¹ Это дерзкое “языческое” молодое кощунство сродни богатырскому кощунству Святогора, который, наткнувшись в южнорусской былинной степи на пустой гроб, из озорства улёгся в него и велел Илье Муромцу накрыть гроб крышкой. Но крышка срослась с краями гроба, и Святогор приказал Илье рубить её мечом, чтоб освободиться от гробового плена. Однако после каждого удара по крышке на ней вырастал железный обруч... Вот так и сгинул великий богатырь земли святорусской, пытавшийся легкомысленно поднять “тягу земную” и которого после этого сверхъестественного усилия чуть было не поглотила “мать сыра-земля”. Пушкин знал эту тайну нашей истории, в которой христианское смирение было навязано народу верховной властью за очень короткое время. Пушкин понимал, что русское язычество в результате этой реформы “сверху” не изжило себя, о чём он и писал в письме к Чаадаеву: “жизнь, полная кипучего брожения и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов”.

*Не возводи ты памятника мёртвым,
Тем более живым, И духом гордым
Не отягчай мне душу на том свете.
За этот грех я буду там в ответе.
Я памятник себе воздвиг из бездны,
Как звёздный дух. Вот так-то, друг любезный...*

А дальше, как следует из воспоминаний Чусовитина, Кузнецов сказал ему по телефону **“26.3.1997 г<ода> в 18 часов 50 минут”**, что **“это реплика на “выше александрийского столпа”. Но всё-таки у Пушкина материальное сравнение. А что такое дух или бездна? – Ничего материального”**...

Однако, чувствуя свою неполную правоту в этом споре, он продолжал поиски аргументов: **“Меня будут знать, но я никогда не буду популярен”**, – говорил он и тут же успокаивал себя: **“И Пушкин тоже не популярен”** (“Литературная Россия”, № 29, 2012).

На Тверской площади в Москве вот уже 135 лет стоит знаменитый памятник Пушкину со словами, которые, если говорить о бессмертии или популярности, проясняют всё до конца:

*Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.*

На Троекуровском кладбище в той же Москве стоит надгробный памятник Юрию Кузнецову с его двустушием:

*Но русскому сердцу везде одиноко,
И поле широко, и небо высоко.*

Ну что делать! Каждый из поэтов напроорочил своим стихам, а значит, и самому себе и популярность и бессмертие. И разошлась пушкинская народная тропа с кузнецовским путём, повернувшим в одиночество.

При всей любви к Поликарпычу, я, прочитав это его “воззрение”, ахнул: как можно говорить о какой-то “непопулярности” Пушкина, если вот уже более полутора столетий почти десять поколений русских людей выросли в его мире, потому что с первых уроков в какой-нибудь церковно-приходской или земской, а после революции – в советской школе в душу ребёнка на всю жизнь западали и “Лукоморье”, и “Сказка о рыбаке и рыбке”, и “Буря мглою небо кроет”... Если русская интеллигенция в течение тех же полутора столетий переживала и переживает до сих пор слова и мелодии вечных романсов на его стихи; если в императорское и в советское время со сцен всех оперных театров страны не сходили “Цыганы” и “Евгений Онегин”, “Пиковая Дама” и “Борис Годунов”; если экранизации пушкинских шедевров – от “Капитанской дочки” до “Маленьких трагедий” – десятилетиями не сходили с экранов кинотеатров от Бреста до Владивостока...

Народ на протяжении этих полутора веков медленно и неустанно, как бескрайнее поле – влагу, впитывал пушкинские мысли и чувства, пушкинскую речь, пушкинский дух...

“И заметь, – сказал Кузнецов Чусовитину, – с XIX века не было сказано ни одного нового слова о Пушкине”.

А речь Достоевского в 1881 году при открытии первого памятника поэту на Тверском бульваре?

А новое осмысление Пушкина в работах Константина Леонтьева и Василия Розанова? А попытка каждого из кумиров Серебряного века создать образ своего Пушкина? А речи Блока и Ходасевича в февральский день голодного и холодного 1921 года, произнесённые в память о Пушкине, а блоковское стихотворение-завещание о Пушкинском Доме? А попытки отвязанных деятелей декаданса “сбросить Пушкина с парохода современности”?

Ведь всё это по-своему было именно “новым” прочтением Пушкина. Я уж не говорю о грандиознейшем внедрении во все поры советской жизни пушкинского мира, когда мы вспоминали, что минуло сто лет со дня его гибели, – в знаменитом 1937 году. Ах, Поликарпыч, Поликарпыч...

Правда, иногда Кузнецов забывал о своих разногласиях с Александром Сергеевичем и чуть ли не копировал пушкинские сюжеты:

*“Движенья нет”, — сказал мудрец брадатый,
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не смог он возразить...
Хвалили все ответ замысловатый.*

А вот “замысловатый ответ” Поликарпыча на пушкинское нравоучительное четверостишие:

*В одной пустыне повстречались двое,
И каждый думал: “Этот мир — пустое!”
Один затряс ногой и возопил:
— Как тесен мир! Мне отдавили ногу.
— А в мире что-то есть! — проговорил
В раздумье тот, кто ногу отдал.*

А может быть, Ю. П. нарочно написал полное подражание А. С., поскольку последний тоже баловался “подражаниями” (в XIX веке это был особый жанр поэзии), и Ю. П. решил создать нечто, не уступающее по качеству пушкинским образцам этого своеобразного жанра.

Пушкин с остроумным вдохновением писал эпиграммы на Булгарина, на графа Воронцова, на поэта Хвостова. Поликарпыч, словно бы ревнуя к Пушкину, возродил этот жанр, почти погибший в советской поэзии, и жертвами его острого пера стали Геннадий Ступин, Валентин Устинов, Василий Казанцев.

Пушкин в совершенстве владел стихотворным эпистолярным жанром, он писал графу Юсупову (“К вельможе”), Денису Давыдову, Боратынскому, Языкову. Юрий Поликарпович, возрождая и этот “пушкинский жанр”, написал стихотворные послания Чусовитину, Палиевскому, Ст. Куняеву и Вадиму Кожину. И даже когда он с гневом на лице вошёл в мой кабинет и резко выговорил мне, что за поэму “Путь Христа” ему был выписан какой-то слишком недостойный его работы гонорар (забыв о том, что журнальная касса пуста), я с любопытством посмотрел на него и не сдержался:

— Что, Пушкина начитался? “Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать?”

Поликарпыч понял иронию, сразу смягчился и даже улыбнулся одной стороной лица. Ну, что делать? Конечно, по сусекам поскребли и ошибку бухгалтера исправили.

А стихотворение “Русский лубок” вообще показалось мне пародией на пушкинскую сцену, в которой Карла-Черномор уносит по воздуху несчастную красавицу Людмилу:

*Во вселенной убого и сыро,
На отшибе — лубочный пустырь.
Через тёмную трещину мира
Святорусский летит богатырь.
.....
Он летит над змеиным болотом,
Он завис в невечернем луче.
И стреляет кровавым помётом
Мерзкий карлик на левом плече.
.....
Облик карлика выбит веками,
И кровавые глазки торчком...
Эх, родной! Не маши кулаками.
Сбрось его богатырским щелчком.*

Как бы то ни было, но А. С. то помогал, то мешал Ю. П. на протяжении всей его творческой жизни. Во всяком случае, Поликарпыч всегда чувствовал рядом с собой присутствие планеты, называемой “Пушкин”, и стремился к ней, и одновременно страдал, чувствуя на себе её тяготение, и бунтовал

против него, и был в этом бунте и запальчив, и несправедлив. В небольшой статье “О воле к Пушкину” (1981) Юрий Кузнецов иронизирует: **“Но есть другая крайность: все дороги ведут к Пушкину. Пушкин – это всё, он – солнце. Нет ли в таком взгляде ограниченности, неверия в приход иных мощных светил?”** Рискну предположить, что под “другими мощными светилами” Поликарпыч имел в виду самого себя. А кого ещё? Ну, не Рубцова же! Однако афоризм Аполлона Григорьева и Фёдора Достоевского о том, что “Пушкин – наше всё”, Юрий Поликарпович толкует весьма упрощённо. “Наше – всё” означает не то, что весь Пушкин – идеален, что он выразил всю лучшую суть русского бытия. Конечно же, нет! Он и наши высоты, и наши низины, и наша державная мощь, и наша вражда к ней, и наше петровское, имперское строительство жизни, и разрушительные всплески разинщины или пугачёвщины, он и наша святость – “отцы пустынноики и жены непорочны”, – и наше святотатство – “Гавриилиада”, например, и наше вселенское мировое призвание (речь Достоевского), и наш генетический патриотизм (“любовь к родному пепелищу, / любовь к отеческим гробам”); он и наша наивная тяга к Западу Вольтера и Байрона, но он же и осознание пагубности и порочности этих соблазнов, этих смертоносных для русского простодушия ядов; он и всенародно-государственная исполинская правда Медного Всадника, и крошечная правда несчастного Евгения с его естественной жаждой частной, семейной жизни и осуществления своих прав человека. В Пушкине намечены высшей волей все порывы к духовному совершенству и все пути к грехам нашего национального характера, все пути в вечность и в тупики и зигзаги временной, преходящей русской истории. А как поверхностно понял Поликарпыч слова Гоголя о том, что “в Пушкине русский характер отразился в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла”! Толкуя это эффектное, но не глубокое суждение Гоголя, Пушкин, по словам Кузнецова, **“соблазнил русскую поэзию именно ландшафтом. Чем иначе объяснить упорное усиление ландшафтной и бытовой предметности в ущерб глубине и духовному началу?”** И дальше Кузнецов приводит “ущербные” примеры из русской классики:

*Где бодрый серп гулял и падал колос,
Пустынно всё, простор везде...*

Выхожу я в путь, открытый взорам...

В прозрачном холоде заголубели доли...

Тютчев, Блок, Есенин... Но Кузнецов в такого рода размышлениях не прав, потому что он, отталкиваясь от Гоголя, путает “ландшафт” (он же “пейзаж” – недаром оба слова иностранные!) с “природой” (одно из самых древнейших и глубокомысленных русских слов!), в лоне которой рождается и русский человек, и русская душа, и русская история. Картины “душеродящей природы” у Пушкина везде, куда ни глянь:

Буря мглою небо кроет...

*Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна...*

*Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...*

Какой тут **“ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла”!** Тут состояние души, слившейся с состоянием текучей русской природы, рождающей эту душу!

*Вот Север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идёт волшебница зима...*

И уже отсюда посыпалось всё остальное:

*Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С её холодной красою
Любила русскую зиму...*

*И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь...*

Ну, при чём здесь ландшафт, если нашу жизнь обволакивает родная этой жизни природа!

“Ритмика, которой мы пользуемся, – античное изобретение, – пишет Юрий Поликарпович, – и пришла к Пушкину через немцев и французов. Пушкин и наложил “западную” печать на русское стихосложение”.

Но Ломоносов, Державин и даже Барков, а вслед за ними Жуковский и Батюшков заложили ещё до Пушкина “пушкинские”, то есть современные основы русского стихосложения...

Кузнецов пишет о том, что **“народное сознание выработало свои национальные поэтические формы: былинку, народную песню, раёшный стих, частушку. За исключением двух последних, все они отличались большой протяжённостью, что соответствовало национальному характеру и строю души. Античный ритм родился из особенностей другого характера <...> ритм, тон и даже рифма оказались прокрустовым ложем...”** Но Пушкин, как бы заранее упредив упреки Кузнецова, всё это понимал и осмысливал, когда создавал безрифменную “Сказку о рыбаке и рыбке” и когда сочинял написанную вольным ритмом “Сказку о попе и работнике его Балде”, когда, сообразуясь с народным стихосложением, сочинил “Сказку о медведихе”, когда с неподражаемой лёгкостью переложил на русский народный лад безрифменные “Песни западных славян”, три из которых были сочинены им самим от первого до последнего слова...

А на утверждение Ю. К. о том, что рифма пришла к нам **“через немцев и французов”**, можно возразить, что в русском народном творчестве полным-полно не только рифмованных частушек, но и загадок, и пословиц с поговорками:

Или грудь в крестах, или голова в кустах.

Пословица недаром молвится.

Людская молва – морская волна.

Из грязи – в князи.

Где родился – там и содился.

Ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца...

“Поэтический символ – вот гигантский путь, по которому не пошёл Пушкин”. И опять желание Кузнецова объявить себя основоположником символического и мифологического пути в русской поэзии сослужило ему плохую службу. Разве не мифологическими и одновременно символическими фигурами в творчестве Пушкина являются и работник Балда, и слуга Савельич, и “лишний человек” Евгений Онегин, и няня Арина Родионовна, и гетман Мазепа, и Медный Всадник, и Старик со своею Старухой вместе с Золотой Рыбкой, которая перекочевала с пушкинских страниц в стихи самого Кузнецова? А Пимен-летописец? А Николка-юродивый? А образ Самозванца, переходящий из одного произведения Пушкина в другое? Да, Пушкин расплескал “и жизнь, и слёзы, и любовь”, но в каких стихах!

*Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В моей душе угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.*

*Я вас любил: безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.*

В отличие от Александра Сергеевича Юрий Поликарпович воплощал в любовных стихах властную интонацию мужской воли:

*Ты просила любви и покоя,
Но тебе я свободу дарю...*

*Ты зачем полюбила поэта
За его золотые слова...*

*Нахваталась ты слов, нахваталась,
Все твои измышления — ложь...*

Ты женщина, а это — ветер вольности...

*Я вырву губы, чтоб всю жизнь смеяться
Над тем, что говорил тебе: люблю...*

И такого рода признаний мужского превосходства над женской стихией не счесть в его стихах:

*Говори! Я ни в чём не согласен,
Я чужак в твоей женской судьбе...*

Пушкин по отношению к женщинам был добродушен и снисходителен, он и восхищался ими, и подшучивал над их природой. Но не более того. Самым суровым его суждением о дочерях Евы была, пожалуй, фраза из письма о том, что **“в молодости они живут страстями, а в старости сплетнями”**. А ещё, правда, Старуху из сказки о Золотой Рыбке сурово осудил за женскую алчность и тщеславие.

Но однажды с Поликарпычем случилось чудо: то ли дух Пушкина просветил его душу, то ли он исчерпал все свои силы, питавшие его иллюзию мужского превосходства, но вдруг из-под его пера возникло нечто пушкинское, некая копия стихотворения “Я вас любил”, как будто он тоже решился “расплескать” остатки золотого осадка из олимпийской чаши:

*Я в жизни только раз сказал “люблю”,
Сломив гордыню тёмную свою.
Молчи, молчи... Я повторяю снова
Тебе одной неведомое слово:
“Люблю, люблю!..”
Моя душа так рада
На этом свете снова видеть свет,
Ей так легко, ей ничего не надо,
Ей всё равно — ты любишь или нет.*

Всё-таки Александр Сергеевич помог ему “сломать” его “тёмную гордыню” и вывел мятущуюся душу из “мрачной бездны” на свет Божий.

“Я читал своим студентам лекции на тему “Стыд и совесть в поэзии Пушкина”, и в числе прочего – утверждения, что ценность этих обеих дефиниций перекрывается у него самодовлеющей красотой русского слова... Которое и делает его творчество цельным”. Если верить Чусовитину, сказано это **“26 марта 1974 года в среду, в 18 часов 50 минут”**. Ну, тогда надо согласиться и с Цветаевой (“Эфрониха”, “сексопатологическая баба”, как говорил о ней Ю. К.), которая утверждает в статье “Искусство при свете совести”, что **“необходимость атрофии совести – тот нравственный закон, без которого искусству не быть”**. Но ведь сам Кузнецов через два года напишет стихотворение “Покаянный вздох”, в котором, вольно или невольно, возвысит “дефиницию покаяния” (а значит, и совести) над словом и красотой. После такого разворота души он уже мог садиться за поэму о Христе...

А как вовремя и внезапно вторглось в его жизнь пушкинское стихотворение “Не дай мне Бог сойти с ума”! Только он вставил его в ряд самых высоких и любимых им русских стихотворений вместе с лермонтовским “Выхожу один я на дорогу...”, как с ним произошло нечто. Дальше – из воспоминаний Чусовитина от “12.8.1999 г<ода>, четверг” (Чусовитин везде ставит даты с часами и минутами. С такой дотошной точностью даже гоголевский герой “Записок сумасшедшего” не вёл свой дневник!):

“Кузнецов приходит подстричься.

– Пьёшь?

– Нет, всё – бросил. Теперь не буду пить до самого 60-летия. Допился до глюков. И постоянно слышатся голоса: “Сволочь, сволочь, сволочь! Сука, сука, сука! Тварь, тварь, тварь!” – и всё это голосом Батимы... Вызывают на спор. Но я-то уже учёный. В прения с ними не пукался, а попросил Катюку поставить 40-ю симфонию Бетховена (?! — П. Ч. Может, Моцарта?), и она меня спасла. Попробовали пробиться сквозь музыку два-три раза, но слабо... вполне можно выдержать... Но я всё же позвонил в наркологический центр, а там говорят: “...Ждите утра. Будь острый психоз – тогда другое дело. Мы в два часа ночи не поедём”. Ну, что ты будешь с ними делать? Всё же перетерпел. Но испугался. Нет – хватит пить”.

Дабы удостовериться, что Чусовитин в данном случае говорил правду, можно заглянуть в рассказ Юрия Поликарповича “Хилые орхидеи”, в котором автор с точностью врача-психиатра описывает слуховые галлюцинации, преследовавшие его.

“Человек остался один на один с голосами. Из них по-прежнему выделялся глумливый. Голос следил за каждым его движением. Он ловил переход мысли в слово по малейшим вздрагиваниям гортани, нёба и языка. Человек только подумал, а голос уже произнёс. Алексей Петрович отдал ему должное: “Вот чёрт! Подмётки режет на ходу...”

Неожиданно для всех нас осенью 1999 года (почти перевёрнутое вверх ногами число 666!) Ю. П. исчез из редакции почти на месяц. Кое-как удалось установить, что он лёг по своей доброй воле в какую-то тайную привилегированную лечебницу. А когда вышел из неё, то скупой и с неохотой сообщил мне, как его лечили в заведении, жившем “по закону тюрьмы и казармы”. В завершение сказал коротко и отрёшенно:

– Я был в аду...

Потом, помолчав, добавил:

– Там были крупные люди...

Но трудно себе представить, чтобы кто-то из пациентов “привилегированной больницы” мог быть “крупнее” Юрия Поликарповича.

Его любимый Александр Сергеевич, всего лишь предположив, что может сойти с ума, нарисовал страшную картину болезни в стихотворении, которое Поликарпыч считал пушкинским шедевром:

Не дай мне Бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад.

Не то, чтоб разумом моим

Я дорожил; не то, чтоб с ним

Расстаться был не рад:

.....

Да вот беда: сойди с ума,

И страшен будешь, как чума,

Как раз тебя запрнут,

Посадят на цепь дурака

И сквозь решётку, как зверка,

Дразнить тебя придут...

В последний раз тень Пушкина, видимо, навестила его перед самой смертью, когда он, схватившись за сердце, пробормотал жене, склонившейся над ним:

– Домой! Домой!

Когда я узнал об этом, то сразу вспомнил последние слова Пушкина:

– Вверх! Вверх!

VI. “Иду на вы!”

Поразительно то, с какой уверенностью и щедростью Юрий Кузнецов насыщает свои стихи пословицами и поговорками, которые тут же приживаются, обнимаются, сливаются со словами его поэтического замеса или входят в них вкраплениями, осколками, ключьями своего словесного тела:

*Мне-то что! Обываю свой крест.
Бог не выдаст, свинья не доест.
Не по мне заварилась каша...*

Уже в этих трёх строчках поблёскивают обломки трёх пословично-поговорочных изречений – я подчеркнул их. Но в том же стихотворении “Откровение обывателя” обнаруживаются (“железки строк случайно обнаруживая”) словосочетания **“задним умом”**, **“провалиться на месте”**, **“хлеб-соль”**, относящиеся к древнейшим языковым идиомам. **“Чёрная зависть гуляет” в чём мать родила**, – и здесь тот же самый случай.

Если внимательно “ощупывать” словесную ткань стихов Кузнецова, то и дело натыкаешься на россыпи *нержавеющей* то ли мудрости, то ли здравого смысла, то ли мифологических словосплетений, таящих в себе, подобно зёрнам пшеницы из египетских пирамид, способность давать зелёные живые ростки через тысячелетия летаргического сна. Эти зёрна так естественно пускают корни в кузнецовскую стихотворную плоть, что образуют с ней одно целое:

Нам чужая душа — не потёмки...

*Только русская память легка мне
И полна, как водой решето...*

*И вскинул я руку и в руку
Синицу поймал...*

Лежачий камень. Он во сне летает...

*Воры схватились за золото и тряпки,
Видя ни свет, ни зарю:
— Знать не хотим про какие-то шапки.
— Шапки горят, говорю...*

Вот так “развинчена” пословица **“На воре шапка горит”!**

Можно лишь догадываться, почему Юрий Поликарпович так обильно и настойчиво насыщал свои поэтические образы материалом, состоящим из пословиц и поговорок. Он ощущал, что эти вечно живые зёрна суть своеобразные ствольные клетки поэтического народного мышления, которые образуют целую систему художественных образов. Эта система помогала народу понимать мир и выживать во все времена, заменяла ему не только уголовный, гражданский и семейный кодексы, но и свод позднейших религиозных заповедей и законов. Она была столь универсальна, что позволяла развиваться всем слоям рода-племени: и черни, и знати, и богатым, и бедным, и слабым, и сильным, и дерзким, и кротким, и бунтовщикам, и охранителям, и щедрым, и алчным.

Нужны опорные пословицы для сильных и решительных? Пожалуйста:

На миру и смерть красна.

Или грудь в крестах, или голова в кустах.

Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Была — не была!..

Сколько богословских книг написано о “свободной воле” человека, но вся их суть выражена в одной народной пословице: **На Бога надейся, а сам не плошай.**

Именно к такого рода русским людям, живущим по законам мифологического бытия, для которых “на миру и смерть красна”, принадлежал и сам По-

ликарпыч, и все сказочные персонажи его поэзии. Его “человек-народ” воплотился во всех, “пошедших поперёк”: в сгоревшего космонавта, в персонажа из “Золотой горы”, в образ отца из поэмы “Четыреста”, в русских богатырей из “Сталинградской хроники”, во всадника с Куликова поля, вынесшего на своём теле “рваное знамя победы”, в русского ребёнка, которому тростинка поёт “про печали Мазурских болот / и воздушных твердынь Порт-Артура”... Все они — и Пересвет, и Сергей Радонежский, и лейтенанты, которые “всегда в голове”, и Степан Степанчиков из поэмы “Дом”, на культё которого горит наолка “За Родину, за Ста”...”, и непобедимая “Федора-дура”, и казак, обронивший кубанку, и неизвестный солдат, ползущий по Красной площади из своей могилы, и даже пьяница из стихотворения “Где-то в Токио или в Гонконге” — все они сотворены из человеческого материала высшей мифологической пробы... Страшно сказать: из того же материала у него “сделан” Господь, пошедший, как самый выдающийся герой небесной и земной истории, “на Божественный риск” — отправивший своего единственного сына на гибель ради спасения грешного человечества. И поэт, воодушевлённый Божественным примером, идёт следом за ним:

*Бог свидетель, как шёл я по жизни —
Дальше всюду и дальше нигде —
По святой и железной Отчизне,
По живой и по мёртвой воде.*

*Я нигде не умру после смерти,
И кричу, разрывая себя:
— Где ловец, что расставил мне сети?
Я свобода! Иду на тебя!*

Так поступал и герой русской истории Святослав, говоривший: “**Иду на вы!**” А взваливший на себя бремя использования и толкования русских пословиц и поговорок, исполненных мифологической сущности, Юрий Кузнецов одновременно принял и ответственность за все “высоты” и “низины” русского характера, то есть стал нашим подлинно национальным поэтом.

В заключение вспомним, что в “Капитанской дочке” Пушкин в качестве эпиграфа к трём главам использовал три русских пословицы: “Береги платье снову, а честь смолоду”, “Незванный гость хуже татарина”, и “Мирская молва — морская волна”. Так что и здесь Поликарпыч идёт по стопам Пушкина. Но надо держать в уме, что Пушкин, живший в молодости, как бретёр, “ера” и “забияка”, Пушкин, которому были любы рискованные, лихие, залихватские пословицы и поговорки, к тридцати годам, как говорят в народе, “женился-остепенился” и даже оставил для нас двестише, отразившее в себе все перемены, произошедшие в сознании поэта:

*Воды глубокие плавно текут,
Люди премудрые тихо живут.*

* * *

В отрочестве одной из моих любимых книг была повесть Аркадия Гайдара “Школа”. До сих пор помню сцену из этой повести, где её главный герой становится свидетелем того, как бандиты, которых столько развелось на русской земле во время революции и гражданской войны, поют вокруг лесного костра залихватскую зловещую песню той жестокой эпохи:

*Мой товарищ — острый нож,
шашка-лиходейка,
пропадём мы ни за грош,
жизнь наша — копейка.*

Потом я надолго забыл эту песню и вспомнил её лишь в десятом классе, когда прочитал пушкинскую “Капитанскую дочку”, где пугачёвские разбойники и душегубы затянули на “сон грядущий” “любимую песенку” своего атама-

на. Она потрясла своей поэтической силой не только молодого Гринёва, но и меня, советского десятиклассника:

*Не шуми, мати, зелёная дубравушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати...*

А думу добрый молодец думает о том, что “завтра” идти ему на допрос к грозному судье — “самому царю”, что царь будет его “спрашивать”, с кем он, “крестьянский сын”, “воровал, с кем разбой держал”, а ещё много ли с ним было “товарищей”? А он ответит “надёже — православному царю”:

*Что товарищей у меня было четверо:
Ещё первый мой товарищ — тёмная ночь,
А второй мой товарищ — булатный нож,
А как третий-то товарищ-то — мой добрый конь,
А четвёртый мой товарищ — то тугой лук...*

Ответил “крестьянский сын” “грозному судье — самому царю” талантливо и выразительно. Но и царь в долгу не остался, и словно бы продолжил этот поэтический поединок, с неменьшим талантом и вдохновением — ведь они оба русские люди:

*Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалуйю
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.*

Сцена поистине достигает предельной мифологической силы. Тут одновременно говорит и судья с преступником, и отец с сыном — “детинушкой”, и поэт с поэтом. И, чувствуя всё это, участники действия взволнованы — и Пугачёв, и его “товарищи”, и молодой Пётр Андреевич Гринёв:

“Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обречёнными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — всё потрясло меня каким-то пиитическим ужасом”. Но восхищаясь поэзией народного восстания, Александр Пушкин в то же время понимал многое, лежащее за пределами поэзии, когда писал в главе, не вошедшей в окончательную редакцию “Капитанской дочки”:

“Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас всевозможные перевороты, или молодцы и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка”.

Вот именно эти слова “своя шейка — копейка” и перебрали мою память от разбойничьей народной песни из “Капитанской дочки” к тоже разбойничьей и тоже народной песне из повести Аркадия Гайдара “Школа”...

В XVIII веке пугачёвцы пели: **“...а второй мой товарищ — булатный нож”**, в XX веке антоновцы вторили им: **“мой товарищ — острый нож”**... Века проходят, а в пословицах и песнях, из которых слова, как говорится, не выкинешь, остаются всё те же слова, и всё те же “детинушки”, сидя у разбойничьих костров, самозабвенно повторяют: **“Жизнь наша — копейка!”**

Но ведь в народе, кроме бунтовщиков и людей рискованных, есть и слабые, и робкие, и смиренные, им тоже как-то выживать надо, они тоже ищут в народной мудрости опору себе — и находят:

*С сильным не борись — с богатым не судись.
По одежке протягивай ножки.
На каждый роток не накинешь платок.
Моя хата с краю...*

Во время чрезвычайных обстоятельств — войн, революций, природных и социальных катастроф — слабым, конечно, приходится выживать около

сильных, прислоняться к ним. Но сила – это не их сущность, и тогда слабые утешаются пословицей:

С волками жить – по-волчьи выть.

Но кроме сильных и слабых есть в народе и слой “золотой середины” – люди здравого смысла, люди терпенья, вспоминающие в трудную минуту жизни пословицы, рождённые в народном чреве именно для них:

Семь раз примерь – один раз отрежь.

Капля камень точит.

Худой мир лучше доброй ссоры.

Не зная броду – не суйся в воду.

Ранний загод не бывает богат...

Это люди, подобные пушкинскому Гринёву-младшему, который на пугачёвский вопрос, верит ли Гринёв, что перед ним – император Пётр III, острожно отвечает: “Кто бы ты ни был, ты играешь в опасную игру”.

И одна, и другая, и третья ипостась народной мудрости необходима народу для равновесия в жизни. Иначе эти пословицы и поговорки были бы забыты или бы стали достоянием историков и филологов. Однако они живут. И в наши времена бывает, что, когда человек колеблется, как ему поступить, последним доводом к действию ему служит народная пословица: “Пан или пропал!” Каждый человек выбирает в таких случаях из кладезя народных пословиц изречение по своим силам и по своему характеру. И эти пословицы с незапамятных времён могут, словно люди, враждовать одна с другой. Пословица, рождённая для обличения бессовестных людей, гласит:

Хоть плюй в глаза – всё Божья роса.

Но в ответ люди бессовестные ограждаются, как щитом, своей пословицей:

Стыд не дым, глаза не ест.

Это не оправдывает бесстыжих и бессовестных, но всё-таки помогает им жить и чувствовать себя тоже частью народа, сознавать, что без них “народ не полный”. Над такого рода противоречиями часто задумывался знаменитый современник Пушкина Евгений Боратынский:

*Предрассудок! Он обломок
Древней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.*

Сотни книг написаны о странной связи добра и зла, о превращениях одной силы в другую. Именно об этом написаны и “Фауст” Гёте, и “Мастер и Маргарита” Булгакова, и “Пирамида” Леонида Леонова. Но куда убедительнее об этой связи твердят нам пословицы:

Нет худа без добра.

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься...

И опять вспоминается “поэт мысли” Евгений Боратынский:

*Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?*

*Что, наконец, поймёт надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.*

Конечно, эпоха единобожия и принятие русскими племенами христианства просветили языческую сущность древних обычаев, изречений и правил светом нравственного закона, и многие христианские истины – “**мне отшельники и аз воздам**”, “**смертью смерть поправ**”, “**будет день – будет пища**”, “**легче верблюду пролезть в игольное ушко, нежели богатому войти в царство небесное**” – тоже обрели статус пословиц и поговорок и со временем усмирили многие тёмные страсти молодого русского племени. Но Юрия Кузнецова, в первую очередь, притягивали к себе глубинные, тёмные, не щадящие чувств нынешнего цивилизованного обывателя, заповеди народного бытия, выплывающие, по убеждению поэта, “из бездны, где “слова молчат”: “**не до жиру – быть бы живу**”, “**ни дна ни покрывки**”, “**собака лает – ветер носит**”, “**снявши голову, по волосам не плачут**”, “**чёрного кобеля не отмоешь до бела**”, “**сука не захочет – кобель не вскочит**”...

Именно эти “предрассудки” (то есть то, что было “перед” рассудком, раньше “рассудка”) – обломки “древней правды”, жестокой, страшной, бесчеловечной, безличной, дохристианской, – эти пословицы и поговорки, подобные гвоздям, которыми прибито современное человеческое сознание к своим древним истокам, уходящим в тёмные глубины доисторического бытия, особенно притягивали к себе Юрия Поликарповича, и следы этого притяжения явственно видны во многих его стихах-наваждениях.

VII. “Я растерял чужое и своё...”

Ну, не случайно же Пушкин, в молодые годы чуть ли не молившийся на Вольтера и Парни (даже “Гавриилиаду” написал, подражая ему!), на Байрона и Андре Шенье, за что заслужил от своих лицейских приятелей прозвище “француз”, к тридцати с лишним годам окончательно опомнился от “чужебсия”, как от наваждения, и написал:

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...*

А это означало осмысление им всего того, что называется “родным” и что утверждает “самостоянье человека” в земной жизни. И не только поэтическим слогом, но и деловыми рассудительными соображениями, изложенными в письмах, Александр Сергеевич окончательно подтвердил, что такого рода перемены, происшедшие в его душе, необратимы.

Вот его своеобразное “священное писание” **своего** – своей семейной жизни – из письма к П. Нащокину, написанному в 1836 году, незадолго до смерти: “**Моё семейство умножается, растёт, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку на свете скучно**”.

Несомненно, что эти строки из письма отозвались стихотворным эхом в одном из последних его стихотворений:

*...На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,*

*Всё тот же их знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зелёная семья; кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему всё пусто...
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!..*

А какой поистине культ дружбы завещал нам Александр Сергеевич во многих стихах, посвящённых Чаадаеву, Денису Давыдову, Вяземскому, царскосельским однокашникам, сосланным в Сибирь декабристам. Но как против всего этого не то чтобы идиллического, но естественного образа жизни бунтовала эсхатологическая натура Юрия Кузнецова! “Я в поколение друга не нашёл”, — угрюмо вещал он. “Тому, кому не умереть, подруга не нужна”. Пушкин ведь тоже знал о своём бессмертии: “Нет, весь я не умру”, — писал он, но это не мешало ему относиться к “подругам” и по-человечески. И, конечно же, венцом этого своеобразного антипушкинского бунта являются слова, записанные поэтом Евгением Чекановым, который спросил Кузнецова в 1995 году: **“Юрий Поликарпович, семья ваша бедствует, судьба ваших детей непонятна... Так что главное — поэзия? Или всё-таки, как Розанов говорил, наши дети с “их тёмным и милым будущим”?**

— **Поэзия.**

— **А как же дети?**

Он — в страшном гневе, выпучив глаза:

— **Да что ты говоришь? Что ты говоришь?”**

Да я и без Чеканова знал об этих убеждениях Поликарповича, о том, что поэзия — превыше всего, о том, что “он пошёл поперёк”, что расплата за это неизбежна.

Однажды он ворвался в мой кабинет весь растрёпанный, помятый, всклокоченный:

— Нет, ты понимаешь, какой это чудовищный животный эгоизм! У этих самок только и мысли, что о детёнышах!

Он был измат, раздавлен, как я понял из его нечленораздельных стонов, вздохов и междометий, войной, случившейся дома, видимо, вокруг судьбы его дочерей. Нет, он ни в чём не обвинял жену, ощущая какую-то её глубинную правоту, но согласиться с её правотой или подчиниться ей было выше его сил... Долго я успокаивал его, как большого ребёнка, и приводил в чувство его же собственными стихами, в которых женщина, обращаясь к поэту, говорит о женской природе:

*На высоте твой звёздный час,
А мой — на глубине,
И глубина ещё не раз
Напомнит обо мне.*

— Вот глубина и напомнила о себе, — попытался пошутить я, но он встрепенулся, поднял голову, глянул на меня, как пациент на врача, своими выпученными глазами и вдруг успокоился, как будто понял, что есть в этом мире стихийные силы, которые не уступают силе поэзии. Но разве можно было переубедить его, однажды поведавшего о себе страшную тайну: **“Стихи стали для меня всем: и матерью, и отцом, и родиной, и войной, и другом, и подругой, и светом, и тьмой”** (из предисловия к “Избранному”). Ну, что тут можно было ему сказать? Поставь поэзию на своё место? Он всех мог поставить на своё место, кроме Неё. **“И не она от нас зависит, а мы зависим от неё”**, — сказал встретившийся ему на кухне студенческой общаги его современник, а в этой ситуации его сообщник Николай Рубцов.

“Будучи взрослым, я спросил свою мать, каким я был ребёнком.

— **Как все дети, — сказала она, — только слишком задумчивым.**

Увы, ответ похож на вопрос. Хоть мне никогда не узнать, что думал

тот задумчивый мальчик, но, конечно же, в нём таилось всё, что я осознал потом. “Слишком задумчивым” – этим сказано всё.

Нет, умом он понимал “правоту глубины”, иначе не написал бы:

*В этом мире погибнет чужое,
Но родное сожмётся в кулак...*

Но всё дело было в том, что в кузнецовском афоризме “родное” понималось им как мифологическая, а не житейская сущность. Что для себя считать родным: своих кровных детей или своих духовных, призрачных чад, именуемых “наваждениями”? В минуту своего праведного гнева (или приступа помрачения) он мог сказать страшные слова женщине своей судьбы: **“И эта гибель мне детей рожала!”**, – мог пригрозить непослушной дочери: **“Смотри, на стихотворение нарвёшься!”** (как будто страшнее этого в жизни ничего нет!), – мог предостеречь дочь, что если с ней что-то в жизни произойдёт, то заслониться от беды она сможет **“только отчеством”**.

Помнится, что Вадим Кожин, озабоченный сложностью отношений между народами и племенами, населявшими Советский Союз, одно время чрезвычайно надеялся, что межнациональные браки, в которых будут рождаться дети-полукровки, внесут прочный вклад в жизнеспособность общества и государства. Поэтому он нередко в своих статьях вспоминал, что он, русский человек, женат на полукровке-еврейке, что Анатолий Передреев женат на чеченке, Юрий Кузнецов – на казашке. Поскольку я был женат на русской женщине, и пасьянс этот до конца не складывался, то Вадим, будучи убеждённым, что моя фамилия тюркского происхождения, написал в предисловии к моим стихам для “Книги современной лирики”, что я происхожу “из знатного татарского рода”, за что я устроил ему настоящий скандал, чтобы он не фантазировал на такие щепетильные темы.

Юрий Кузнецов тоже одно время был увлечён такого рода надеждами и не раз в стихах вспоминал о том, что в его семье Россия породнилась с Азией:

ВОСТОКУ

*Давным-давно судьба перемешала
Твоих сынов и дочерей твоих,
Но та, что спит в долине рук моих,
Спала в ложбинке твоего кинжала.*

Но когда его дочь изъявила желанье выйти замуж за мужчину из азиатского мира, он настолько вышел из себя от негодования, что поведал об этой семейной расправе мне и не только мне:

– Я сказал ей: “Ты что, русского мужа не могла найти?! Ни за что! Нет на это моего благословения!” А жена мне говорит:

– Но ты же взял меня в жёны! – А я ей показываю на дочь и отвечаю:

– Ну, ты видишь, каков результат!

Видимо, в отместку жена, ради красного словца, была помещена рядом с мифологической фигурой Степана Разина:

*Как похмельный Степан на княжну,
Я с прищуром гляжу на жену:
— Кто такая, чего ей здесь нужно?..*

Но этого ему показалось мало, и в другом стихотворении он добавил:

И летает жена на метле...

А в третьем разобрался с “подругой” окончательно:

*Я уходил не раз. Она визжала:
“Мы все такие, лучше не найдёшь!”
И эта гибель мне детей рожала!
Но что их ждёт, когда повсюду ложь?*

*Жена! А ты предашь меня мгновенно
По лёгкости иль глупости своей.
Уж столько лет ты лжёшь самозабвенно
И натрясёшь с три короба чертей.*

*Дух на излёте, а в душе смущенье,
И в ноздри бьёт стыда сернистый пар.
От женщины осталось отвращенье.
Вот Божья кара или Божий дар!*

Лишь однажды он попытался написать о дочери, увидев её плачущей, простыми словами:

*В углу забилась и плачет... Что делать — не знаю.
В горле стучит. Я с трудом своё сердце глотаю...*

.....
*Что понимать? Что моё понимание значит?
Боже, мне больно, скажи, отчего она плачет?..*

Но стихотворение о беспомощности родного существа не получилось “кузнецовским”, а может быть, и вообще не получилось, потому что личное человеческое состояние без мифологического осмысления для него было неестественным и лишённым поэтической силы. И его стихотворение о матери и о родне (“Семейная вечеря”) обрело вселенский масштаб благодаря тому, что он изгнал из него всё личное, человеческое, изгнал “и жизнь, и слёзы, и любовь”, оставив мифологическую мощь, перед которой христианский миф о святом семействе кажется трогательной и сентиментальной рождественской сказкой:

*Как только созреет широкая нива
И красное солнце смолкает лениво
За тёмным холмом,
Седая старуха, великая мать,
Одна среди мира в натопленной хате
Сидит за столом.*

Она, эта бессмертная, но состарившаяся Ева или древнегреческая Парка — хозяйка судьбы, созывает своих родных, и они по её зову являются к ней, “потрясая могильные камни”. За стол садятся солдатские кости, а рядом — супруга, приходит сын-поэт, он же “предтеча свободы”, дочка-вдова, поздний младенец, “бесследно зарытый”. И ещё какой-то бродяга. Они наполняют стаканы “туманом” и молча пьют.

*Солдат за победу, поэт за свободу,
Вдова за прохожего, мать за породу,
Младенец за всё...
Бродяга рассеянно пьёт за дорогу,
Со свистом и пылью открытую Богу,
И мерит своё.*

Эта “вечеря” настолько наполнена дохристианской безблагодатной тоской, что образ из другого стихотворения Кузнецова “Мы — сновидения земли, и больше ничего” на мгновение показался мне последним словом уходящего из жизни человечества. В его стихах об отношениях отцов и детей всегда есть сверхзадача рассказать о чём-то, что превышает чувства родства. Помните, стихотворение “Очевидец” — о том, как отец, узнав, что по городу проедет Сталин, взял с собой сына, чтобы тот увидел вождя, а вернувшись домой, выпорол его, чтоб сын навсегда запомнил этот день. “Дурная бесконечность” — по Гегелю...

*— Я бью, чтоб ты запомнил этот день,
Когда увидел Сталина воочью...*

Когда кончался двухтысячный год, с уст Поликарпыча не сходили слова: “Прорвёмся в третье тысячелетие! Надо во что бы то ни стало прорваться!”

Что он подразумевал под этим “прорывом” — Бог знает. Может быть, какие-то вселенские катастрофы, может быть, взлёт своей “бешеной славы”. Не знаю. Но когда он в 1997 году похоронил на кубанской земле мать, когда его никто не узнал в родной станице, даже “повитуха”, принимавшая младенца на руки, то горькая правда повседневной, а не мифологической жизни открылась ему, и он заговорил со своими родными людьми неожиданными для него самого человеческими словами и естественным усталым голосом:

*Сестра! Мы стали уставать,
Давно нам снятся сны другие.
И страшно нам не узнавать
Воспоминанья дорогие.*

*Зачем мы тащимся-бредём
В тысячелетие другое?
Мы там родного не найдём.
Там всё не то, там всё чужое...*

Но что делать, если ты сам избрал себе такую планиду, о которой сам же писал:

*Я изгнан из круга родного
В толпу, что не помнит родства...*

Однако его гордыня вдруг оказалась сломленной нагрянувшей старостью, перестройкой, тридцатью годами “олимпийского” — по его словам — пьянства. Так, значит, и Золотые горы — Олимп, Парнас — могли показаться ему “чужими” после того, как повитуха в родной станице не признала его... И опять не обойтись без Пушкина, который такие минуты отчаяния преодолел стихами о соснах, окружённых молодой порослью, и размышлениями, естественными для гения и баловня Золотого века:

“Жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девочки — сентиментальничать; а нам то и любо” (из письма к Вяземскому).

Но то, что для Пушкина было открытой книгой, для Кузнецова — тайной за семью печатями, и он мучительно пытался объять и объяснить самому себе тайную силу кровного родства, всю жизнь до самого смертного часа разгадывая эту тайну. Нельзя без душевного трепета читать его стихотвореньё “Ладони”, написанное как Завещание...

*Рукавицы роняя в снегу
На земном крутосклоне,
Я от брата и друга бегу
И дышу на ладони.*

*Проступают на них два лица:
И чело, и морщины.
Узнаю свою мать и отца.
Мы навек триедины!*

*Сколько раз в кулаки я сжимал
Эти лица родные.
Сколько раз к небесам воздымал
Их, как солнца двойные.*

*Сколько раз бил ладонь о ладонь,
Ни о чём не печалась.
Над землёй высекая огонь,
Эти лица встречались.*

*Подберут рукавицы мои
Тороватые братья...
Раскрываю огню и любви
Ледяные объятия.*

*Но ладонь от ладони ушла
В голубом небосклоне.
Вбиты гвозди, и кровь залила
Эти лица-ладони.*

Последняя связь с кровным родом-племенем потеряна – ушла ладонь от ладони. “Враги домашние сыну человеческому...” Но это мог сказать лишь один Он. А каково нам, малым сим, преодолеть “самую жгучую, самую смертную связь” и жить в этом холодном мире без родного тепла и участия?

“**Мир мой неуютный**”, – однажды в отчаянье произнёс Кузнецов. Но он сам жаждал жить именно в таком мире и сам создавал его:

*Мы забыли, что полон угрозы
Этот мир, как заброшенный храм.
И текут наши детские слёзы,
И взбегает трава по ногам.*

Стихотворение, откуда взята эта строфа, называется “Вина”. И здесь он опять “пошёл поперёк”... И удерживала его на этом роковом пути разве что вера в божественное призвание поэзии, которая спасала и Александра Блока:

*Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,
Но верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала...*

(А. Блок)

Поэзия никогда не была для Кузнецова плодом познания, скорее она была венцом веры.

VIII. “Почти античный запах”

Поскольку у нас “всё от Пушкина”, то и культ изгойства или изгнанничества – тоже от него. Пушкин первым из русских поэтов создал в молодые свои годы образ гонимого поэта, жаждущего прильнуть если не к мировым, то к хотя бы к европейским ценностям. Это было в то время, когда он был “изгнан” в ссылку на юг, к Чёрному морю, а потом – в родное Михайловское. Но почему его любовью в южной ссылке стала Италия? Да потому, что её средиземноморская судьба напрямую вытекала из античности, из истории Римской империи, рядом с которой история франков, германцев, скандинавов, кельтов и англосаксов была варварской, сравнимой разве что с историей восточнославянских племён, замешанной на скифских джоржах. В первой же главе “Онегина” Пушкин, вспоминая, как с Невы он слышал звук рожка и “песню удалю”, признаётся в любви отнюдь не к России:

*Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!*

А дальше следует пылкое объяснение в любви Средиземноморью:

*Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.*

*Ночей Италии золотой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою молодой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле.
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.*

Дальше – больше. Пушкин пишет, что ради свидания с **“Италией золотой”** он готов **“покинуть скучный брег мне неприязненной стихии”** и чуть ли не бежать на Запад:

*Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей...*

Но вершиной этого культа, в котором он узрел поэтический смысл своего изгнания в Одессу и Бессарабию, у Александра Сергеевича стала мысль о сходстве его судьбы с судьбой великого Публия Овидия Назона. Именно о нём он пишет с благоговением:

*Златой Италии роскошный гражданин
В отчизне варваров...*

*Как часто, увлечён унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою...*

Пушкин чувствует себя подобным великому римскому изгнаннику, и это чувство возвышает его в своих глазах и в глазах современников, собутыльников, молодых офицеров тайного Южного общества, реальных и придуманных любовниц.

“Я повторил твои, Овидий, песнопенья”, – говорит он о себе, называя себя **“изгнанником самовольным”**, и гордится, и бравивирует своей участью: **“Не славой – участью я равен был тебе”**. И в **“Цыганах”** он отдал должное памяти Овидия:

*И всё несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная <...>
И завещал он, умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости...*

И, конечно, не удержался он от соблазна сравнить судьбу Овидия с судьбой Боратынского, который в те же годы находился тоже в изгнании, но не на юге, а в холодной Финляндии:

*Ещё донныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона.
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого;
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.*

Пушкин протоптал в русской литературе тропинку от изгнания к славе. А за ним по этой тропинке пошли все, кому не лень. С тех пор, как Россия начала расширять **“окно в Европу”**, отношения между Востоком и Западом стали властно влиять на судьбы людей русской культуры. Когда эти отношения были скудными, то ореола изгнанничества или изгойства над их головами не возникало, и никаких дивидендов от своего диссидентства ни Новиков, ни Радищев не имели. Однако ссылка молодого Пушкина сначала на скифский Юг, а потом в Михайловское уже добавила ему известности, но только на родине.

А изгнание на Запад Герцена впрямую повлияло на его литературную и политическую судьбу, и он, в отличие от Пушкина, уже обрёл европейское имя. А в XX веке связи с Россией настолько усложнились, что “изгнанничество” стало чуть ли не заветной мечтой нашей либеральной диссидентуры, которая, отказываясь от литературной судьбы на Родине, научилась играть уже не в русскую, а в мировую рулетку, получая взамен на Западе возможности, утраченные в СССР: издания, славу и деньги. “Компенсация за гонения” порой доходила и до нобелевских высот, если вспомнить о судьбах Бунина, Пастернака, Бродского, Солженицына. Да и элита второго ряда, вроде Ахматовой или Набокова, а в следующем поколении – Евтушенко, Вознесенского или Аксёнова, – была облагодетельствована Западом весьма щедро, несмотря на все “железные занавесы”, которые почему-то не могли сдержать взаимного тяготения друг к другу маркитантов – “людей близкого круга”, профессионалов по обмену “общечеловеческими ценностями”¹. Лишь в 30-е годы Европа не могла эксплуатировать в борьбе Советами идею изгнанничества, поскольку эта идея могла давать всходы лишь на демократической почве, а в Европе 30-х годов эта почва была коричневой. И Ахматова с Мандельштамом в ту эпоху не могли рассчитывать на понимание Европы, волей-неволей, но пришлось им от неё отворачиваться:

*Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.*

Поэтому первая эмиграция – и русская, и еврейская – не могла извлечь никаких выгод из своего неприятия Советской России. И лишь в 60-е годы, когда в “демократической Европе” появилась возможность манипулировать идеей “прав человека” в борьбе с “советским тоталитаризмом”, могли появиться нимбы изгнанничества над головами Солженицына, Галича, Копелева, Зиновьева, Гладиллина и прочих “шестидесятников”, потомков отнюдь не Тютчева и Достоевского, а, скорее, Герцена и Печорина. И не нужно было изгнанникам беседовать с тенями Назона и Данта, Ариосто и Торкватто Тассо... Раскрутить Аксёнова или Галича европейским идеологам было легче, нежели прославить целую армию деятелей культуры из первой эмиграции... Лишь Бунин с Набоковым выделались из общей массы северяниных, адамовичей, бурлюков, которые Европе были не нужны. Да к тому же их было столько, что на все “нимбы” средств не хватало. В отличие от Евтушенко и Вознесенского, маскировавших тенью Маяковского свою лоскутную идеологию, куда более органичный поэт Иосиф Бродский вольно или невольно стал примерять своё “изгойство” к советской действительности, оглядываясь на Осипа Мандельштама 30-х годов. И проще всего в этой примерке ему было обратиться к темам и образам мандельштамовского античного Средиземноморья, о чём свидетельствуют стихи Иосифа Бродского “Декабрь во Флоренции”, “Одиссей – Телемаку”, “Венецианские строфы”, “Письма римскому другу”. Изящная и похожая на правду стилизация закономерно вывела его то ли к Кишинёвскому, то ли к Римскому, то ли к Воронежскому изгнаннику:

*Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мёрзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, будь беспределен...*

Эта назововская тропа вела Иосифа Бродского и в скифские степи, и в псковские дебри, близкие по своему происхождению к дебрям архангельским. Быть изгнанником, терпящим притеснения от имперско-советской римско-петербургской власти, – это же всё равно, что уподобиться самому Овидию или, на худой конец, Пушкину... Это же циклы стихотворений, поэмы, строфы, полные подтекста. Один лишь Коля Рубцов, будучи подлинным изгоем, бубнил где-то в Вологде своё, кондовое, патриотическое:

¹ Насколько эта идеология “изгнанничества” в настоящее время выродилась и превратилась в убогую карикатуру, можно судить хотя бы потому, что в литературном обиходе существует премия имени “изгнанника” Петра Вегина, от творчества которого не осталось в буквальном смысле ни одной строчки.

*Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводке,
Потом ещё на чём-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком
И буду жить в своём народе.*

Но кому он нужен и кто его слышит? А Бродского слышит весь “цивилизированный” романский, англосаксонский и даже скандинавский и, конечно же, средиземноморский мир:

*Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.*

Всё, как у поэтов изгнания:

*А море Чёрное шумит, не умолкая...
(М. Лермонтов)*

*А море Чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью...
(О. Мандельштам)*

Если тебе грозит изгнание и ты примеряешь себе на голову нимб изгоя, то лучше всего аукнуться со знаменитыми изгнанниками, побеседовать с тенями мировой культуры.

У Бродского хватило ума и такта окружать себя именно изгнанниками от культуры, а не Лениным из Лонжюмо, что делал функционер Вознесенский, и не Собчаком на Лазурном берегу, на которого молился вечно державший нос по ветру Евтушенко. Уж если судьба толкает на Запад, то надо уходить в окружении литературных призраков, что гораздо пристойнее и, на первый взгляд, даже бескорыстнее.

Почти до середины 30-х годов душа Осипа Мандельштама блуждала на мифических берегах и просторах Средиземноморья, беседовала с тенями Елены Прекрасной и не менее прекрасной Европы, приплывшей на спине быка Юпитера к итальянским берегам, примеряла свою судьбу к судьбам Ариосто и Торкватто Тассо, Петрарки и Микеланджело. А уж о традиционной любви к Данту и говорить нечего. И Пушкин, и Блок, и Мандельштам не раз молились на его тень с “профилем орлиным”:

*Зорю бьют... Из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах печатный стих
Неожиданно затих,
Дух далече улетает.*

Это был Дант одной из частей “Божественной комедии”, которую Александр Сергеевич перевёл вольно и вдохновенно, Дант, с помощью которого Пушкин написал “Подражание итальянскому” о том, как в преисподней её мерзкие обитатели приносят своему владыке “живой труп” Иуды Искарота:

*И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожёт уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.*

Право, такой изобразительной экспрессии мог бы позавидовать и сам Юрий Поликарпович! Конечно, Запад соблазнял и его, и Осипа Эмильича тенями Данта, Шекспира, Гёте. Но не будем забывать и о том, что однажды гордый сын Кубани ответил собеседнику, сравнившему его “Сошествие в ад” с “Божественной комедией”: **“Данте мелко плавал по сравнению со мной”**. А если говорить серьёзно, то и Пушкин, и Мандельштам, и Юрий Кузнецов во второй половине своей жизни — каждый по-своему, — но преодолели искушения и соблазны Западного мира. Пушкин благодаря переосмыслению истории в одах “Клеветниками России” и “Бородинская годовщина”, благодаря погру-

жению в русскую стихию, после освоения “Слова о полку Игореве”, народных сказок, Смутного времени, Петровских деяний, пугачёвщины и полного неприятия европейской бульварной литературы, хлынувшей в 30-е годы в русскую жизнь. Ещё бы! В его “Современнике” печатались шедевры: “Скупой рыцарь”, “Капитанская дочка”, “Медный всадник”, “Путешествие в Арзрум”, повести Гоголя, стихи Тютчева, Жуковского, Боратынского, Лермонтова... Какие имена! Казалось бы, нарасхват должен был идти журнал! Ан нет! Всё было тщетно. Грамотная светская чернь уже была увлечена бульварным чтением Булгарина, трескучими стихами Бенедиктова, ходульной прозой Марлинского и, что обиднее всего, бульварными романами французских сочинителей, о которых поэт с беспощадной язвительностью писал: **“Легкомысленная невежественная публика была единственной руководительницей и образовательницей писателей. Когда писатели перестали толкаться по передним вельмож, они в их стремлении к низости обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одной целью: выманить себе репутацию или деньги! В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!”**

К этому возрасту Пушкин уже полностью расстался не только с кумирами своей юности – Парни, Анакреоном, Вольтером, – но даже о Байроне перестал вспоминать и в стихах, и в статьях, и в письмах. В число бульварных писателей, *выманивающих* себе “репутацию и деньги”, он включил даже Виктора Гюго. А в набросках к “Фаусту” вынес западной цивилизации, олицетворённой в виде корабля, возвращающегося из ограбленных колоний с тремя сотнями “мерзавцев”, с “бочками злата”, с “грузом шоколата”, с “двумя обезьянами” и “модной болезнью” – сифилисом, короткий приговор: “Всё утопить”.

Осип Манделштам начал свои признания в любви к античному миру в Коктебеле 1915 года:

*Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины...*

*А я пою вино времён —
Источник речи италийской...*

Выстраивая в своей поэзии волшебную модель Средиземноморья в стихах о Данте и Тассо, об Ариосто и Петрарке, он блистательно перевёл несколько сонетов Петрарки, написал книгу “Разговор о Данте”... И вообще, когда читаешь стихи Осипа Эмильевича 30-х годов, кажется, что он полностью вжился в роль Публия Овидия Назона (как в своё время в неё вжился Пушкин), сосланного в скифские холодные степи и тоскующего по своему сказочному Средиземноморью, по своей **“вероломной, низкой, долгожданной”** родине: “*Овечий Рим с его семью холмами*”, “*Адриатика зелёная, прости*”, “*Нереиды мои, нереиды*” и так далее...

Но наступил 1933 год. К власти приходит Гитлер, а Осип Эмильевич, наперекор всему, в это время взахлёб живёт и дышит образами своей духовной прародины Италии.

*Вы помните, как бегуны
У Данте Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зелёной вере...*

Но этого мало! У него была целая блаженная утопия грядущей жизни средиземноморской Европы, перед которой казалась примитивной картинкой любая другая утопия, в том числе и коммунистическая:

*Любезный Ариост, быть может, век пройдёт —
В одно широкое и братское лазорье
Сольём твою лазурь и наше черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мёд...
(1933 год!)*

Средиземноморье для О. Э. было тем же самым земным раем, что и Беловодье для Клюева, а мёд – тем самым мёдом, который вкушал он у Максимилиана Волошина в Коктебеле, когда “золотистого мёда струя / из бутылки текла так тягуче и долго...”, который он слизнул языком у Пушкина в Лукоморье:

*И я там был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный...*

Правда, он поблагодарил Пушкина за божественный вкус этого мёда, успев ему пальму первенства в создании средиземноморского ареала жизни:

*На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной песни...*

Когда в 60-х годах я бывал в Коктебеле, то всегда наслаждался стрекотанием цикад...

Мандельштам ещё на что-то надеется, ещё верит в последние вздохи европейского гуманизма:

*В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно...*

(1937)

Забыл, Осип Эмильевич, что Пётр Великий уже “прорубил” это окно – окно в Европу... Читаешь и думаешь, что это написано не русским поэтом (каким О. Э. страстно желал быть и которым, в конце концов, стал), но одним из потомков Овидия, страдающего в изгнании в стране варваров. И недаром в среде либеральной интеллигенции до сих пор бытует легенда о том, что, будучи уже в пересыльном дальневосточном лагере, Осип Мандельштам читал уголовникам у костра не что-нибудь, а свои изысканные переводы сонетов Петрарки. А ведь в это время им уже были написаны честные стихи о Сталине:

*И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошёл,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжёл...*

Это написано в том же 1937 году, в то же время, когда он продолжал ещё жить образами Италии.

Ещё в 1922 году в его сознании зародились прекраснодушные иллюзии о приближающейся наконец-то после кровавой мировой бойни мирной, счастливой, благодатной жизни всех европейских народов, наконец-то объединившихся в одну семью:

“Выход из национального распада, из состояния зерна в мешке к вселенскому единству, к интернационалу лежит для нас через возрождение европейского сознания, через восстановление европеизма как нашей большой народности. “Чувство Европы” – глухое, подавленное, угнетённое войнами и гражданскими распрями – возвращается <...> нынешняя Европа – огромный амбар человеческого зерна, настоящей человеческой пшеницы <...>, но каждое зерно хранит память об одном древнем эллинском мифе, о том, как Юпитер превратился в простого быка, чтобы на широкой спине, тяжело фыркая и с розовой пеной усталости у губ, перенести через земные воды драгоценную ношу, нежную Европу, и та слабыми руками держалась за крепкую квадратную шею” (из статьи “Пшеница человечества”, 1922).

Но как мог Осип Эмильевич забыть о том, что его любимый Александр Блок ещё в 1909 году увидел совсем другое лицо “лазурной” Европы:

*Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак гробовой,
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой.*

*Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома.
Всеевропейской жёлтой пыли
Ты предала себя сама.*

Почему он не вспомнил гневное блоковское проклятье обуржуазившейся флорентийской черни, не внял пророчествам Блока в его “Итальянских стихах”, а главное – в “Скифах”? Почему он, когда писал статью “Пшеница чело-веческая”, не понял, что европейская почва настолько пропиталась кровью 20 миллионов, погибших в Первой мировой, что земля эта – “всеевропейская жёлтая пыль” – и этот воздух, наполненный смрадом истлевшей крови, могут родить лишь зёрна для муки коричневого помола? Очень поздно, лишь в начале 30-х годов Осип Эмильевич начал освобождаться от средиземноморских и общеевропейских чар. Он вдруг обнаружил, что

*Над Римом диктатора выродка
Подбородок тяжёлый висит.*

Это – об итальянском дуче, “потомке” римских императоров, об “италийских чернорубашечниках”. О “сиротах Микеланджело”, “облачённых в камень и стыд” и молчащих “в рабстве”, он сказал:

*Вы коричневой крови наёмники,
Мёртвых цезарей злые щенки.*

Когда-то, ещё во время Первой Мировой Осип Мандельштам в стихотворении “Декабрист” писал о прекраснородушном русском западнике, о своём alter ego, в уме которого “всё перепуталось и сладко повторять – Россия... Лета... Лорелея”. Но железно-коричневая судьба новой послевоенной Европы заставила его переписать древнегреческий сюжет с Лорелеей по-новому:

*И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг...*

Это уже о другом фюрере, тоже любившем древнегерманские мифы. Поистине к 30-м годам все гуманисты и поклонники священных камней просвещённой Европы заблудились:

*Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.*

*Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.*

Последний жалобный всхлип об утерянном европейском Рае выпорхнул из груди Осипа Эмильевича в 1937 году в “Стихах о неизвестном солдате”, которые столь же темны и загадочны, сколь была озадачена и растеряна душа поэта, пытавшаяся предсказать будущее человечества:

*Весть летит светопыльной обною:
— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не битва народов, я новое,
От меня будет свету светло...*

Конечно же, это по-своему переиначенная мысль Пушкина о несбыточном времени, “когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся”.

Но точка невозврата уже была пройдена. Какой тут Лейпциг, какое Ватерлоо – впереди маячил призрак Второй Мировой войны, поскольку просвещённой Европе было мало крови, пролитой в Первой Мировой, и буду-

щее человечества должно было решиться в небывалых “битвах народов” — “в белоснежных полях под Москвой”, в Великой Ленинградской блокаде, в сверхчеловеческой Сталинградской схватке, в противостоянии тысяч танков на Курской дуге. Память Осипа Эмильевича, державшая в себе Аустерлиц, Ватерлоо, Верден, Марну, была бессильна прозреть будущее. То, что средиземноморская идиллия изжила себя, — это он успел понять, и это дало ему волшебную возможность наконец-то почувствовать себя русским поэтом. Что и произошло после язвительного стихотворения о Сталине, повлекшего за собой пермскую ссылку, и цикла стихотворений, рождённых не на берегах Адриатики, а на берегах Камы... Затем последовали “воронежское сиденье” со знаменитым “воронежским циклом” и покаянная “сталинская” тетрадь последних двух лет жизни. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Он стал русским поэтом не потому, что писал на русском языке, а потому, что душа его перенесла прививку русской истории с её пониманием по-пушкински. Но жаль ему было расстаться с последними иллюзиями!

*Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых ещё воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.*

Юрий Кузнецов, отец которого погиб на Великой Отечественной в Крыму, во время штурма Сапун-горы, уже по-другому относился не только к новейшей истории, связанной с именами дуче и фюрера, он заглянул поглубже — на несколько веков назад, и в стихотворении о любимом итальянском поэте Осипа Эмильевича предварил текст чрезвычайно важным (чего никогда не делал ранее!) историческим документом, видимо, понимая его бóльшую значимость даже по сравнению с поэтическим текстом:

Петрарка

“И вот непривычная, но уже нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает этот прекраснейший город скифскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток чистой реку; не будь они своим покупателям милее, чем мне, не радуй они глаз больше, чем мой, не теснилось бы бесславное племя по здешним узким переулкам, не печалило бы неприятными встречами приезжих, привыкших к лучшим картинам, но в глубине своей Скифии вместе с худой и бледной Нуждой среди каменного поля, где её (Нужду) поместил Назон, зубами и ногтями рвало бы скудные растения. Впрочем, об этом довольно”.

Петрарка. Из письма Гвидо Сетте, архиепископу Генуи.
1367 год, Венеция.

*Так писал он за несколько лет
До священной грозы Куликова.
Как бы он поступил — не секрет,
Будь дана ему власть, а не слово.*

*Так писал он заветным стилем,
Так глядел он на нашего брата.
Поросли б эти встречи былём,
Что его омрачали когда-то.*

*Как-никак, шесть веков пронеслось
Над небесным и каменным сводом.
Но в душе гуманиста возрос
Смутный страх перед скифским разбродом.*

*Как магнит, потянул горизонт,
Где чужие горят Палестины.
Он попал на Воронежский фронт
И бежал за дворы и овины.*

*В сорок третьем на лютном ветру
Итальянцы шатались, как тени,
Обдирая ногтями кору
Из-под снега со скудных растений.*

*Он бродил по тылам, словно дух,
И жевал прошлогодние листья.
Он выпрашивал хлеб у старух —
Он узнал эти скифские лица.*

*И никто от порога не гнал,
Хлеб и кров разделяя с поэтом.
Слишком поздно других он узнал.
Но узнал. И довольно об этом.*

Всего лишь несколько лет О. Э. не дожидаясь до того, чтобы встретиться на «Воронежском фронте» возле «молодых ещё воронежских холмов» с пришельцем от «всечеловеческих, яснеющих в Тоскане», с суперменом, то есть сверхчеловеком и одновременно гуманистом Петраркой, одетым в серую, мышинового цвета форму солдата Третьего рейха. У Александра Блока хватило мужества осудить дантовскую Флоренцию, превратившуюся в начале XX века во «всеевропейскую жёлтую пыль», но — дитя Серебряного века! — он преклонил колена перед образами идиллической Италии, воспетой искусствоведом Петром Муратовым, перед Италией, глядевшей на него с полотен Рафаэля и Беато, перед сладкозвучием сонетов Петрарки... Средневековая Италия казалась ему утраченным раем. Он не знал или не хотел знать, что на знаменитых площадях Венеции и Флоренции процветала торговля восточнославянскими и скифскими рабами. Он, написавший в 1907 году знаменитый цикл «На поле Куликовом», не знал или не хотел знать, что генуэзская пехота участвовала в походе Мамаю на Русь и в битве на Куликовом поле, надеясь в случае победы отправить очередные шеренги пленных скифов и славян на работоторговые рынки Венеции, Генуи и Флоренции, где их могли покупать и покупали для своих низменных нужд великие гуманисты эпохи раннего Возрождения вроде Петрарки или Микеланджело. Ведь рабы нужны во все времена, что в XIV веке, что в XX.

Но особенно ценно то, что Юрий Поликарпыч, прежде чем написать стихотворение о Петрарке — участнике Второй Мировой, — подобно Осипу Эмильевичу, переболел подобными же античными и средиземноморскими наваждениями, и его молодая душа трепетала от счастья познания другого мира, и в первую половину жизни он жаждал стать, несмотря на все свои кубанские корни, не то чтобы «человеком Запада», но скорее мировой культуры. **«Душа, ты рванёшься на Запад, а сердце пойдёт на Восток»**, и в его «средиземноморских» стихах замелькали имена Гомера, Софокла, Пифагора...

*В туманном юношеском сне
Из этой пустоты
Явилась женщина ко мне —
Елена! Это ты!*

Облик ахейской красавицы Елены Прекрасной, похищенной Парисом, слился у него с обликом похищенной быком-Юпитером девушки Европы, которая объясняется в любви к поэту:

*Она безутешно рыдала
На звёздной спине у него.
И имя твоё повторяла,
Пока не забыла его.*

Из любви к Европе и к её “высокому средневековью” Юрий Поликарпович написал стихотворение о том, как заморская синица принесла ему в клюве золотой волос его возлюбленной. Этот сюжет он взял из знаменитой ирландской саги о Тристане и Изольде.

В конце жизни, вспоминая о своих юношеских увлечениях Западом, Юрий Кузнецов поведал о тайне этих увлечений в стихотворении “Любовь поэта” с эпиграфом из Овидия: “Странно желание любви, чтобы любимое было далеко”.

*Поэт творит из ничего... И жаль,
Что Данте и Петрарка не без дыма.
Не женщин, а магическую даль
Они живописали одержимо...*

*Я тоже предпочёл быть вдалеке,
Когда любил Европу в синем море,
Плывущую на царственном быке...
Какая страсть и грёзы на просторе.*

Эта тоска по Европе понятна. Она результат исторической усталости, возникшей после непрерывной многовековой защиты своих скифских просторов от постоянных нашествий с трёх сторон света – с Запада, с Юга, с Востока... Всё было, как у Пушкина в “Сказке о Золотом Петушке”:

*Ждут, бывало, с юга, глядь —
Ан с востока лезет рать!*

Разве что, слава Богу, с Севера никто не посылал к нам солдат удачи. Но что делать! Как сказал тот же Пушкин: **“Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какою нам Бог её дал”**. Но ведь до пушкинской мудрости дорасти непросто, непросто пересмотреть свои взгляды на мировую историю, на Запад, на Европу, в которой давно уже нет никаких “золотых людей”, никаких “священных камней”, никакого “духом высокого Средневековья”. Один бизнес. К тому же, по словам Пушкина, Европа **“в отношении к России была всегда столь же невежественна, сколь и неблагодарна”**. Если в молодости Юрий Поликарпович ещё мог потребовать у выродившихся европейцев: “Отдайте Гамлета славянам”, – если мог ещё восхищаться злодейской решительностью леди Макбет, если мог аплодировать Марии Антуанетте, якобы вставшей после гильотины на помосте и швырнувшей в толпу французской черни свою окровавленную золотоволосую голову (“но от свободы, равенства и братства / я вынес только королевский жест”), то в поэме “Сошествие в ад” Поликарпович уже крушит направо и налево бывлых кумиров европейской цивилизации.

Впрочем, началось это задолго до “Ада”. В поэме с неслучайным названием “Дом”, отразившей историю европейского “дранга нах Остен”, Кузнецов несколькими эпическими взмахами “орлиного пера” начертил многое из того, что легло в основу “Ада”:

*Европа! Старое окно
Отворено на запад.
Я пил, как Пётр, твоё вино —
Почти античный запах.
Твоё парение и вес,
Порывы и притворство,
Английский счёт, французский блеск,
Немецкое упорство...*

В последних строчках – явная переключка со “Скифами” Блока, к которому Кузнецов сменил гнев на милость: он словно поблагодарил Блока за то, что тот дал ему ключ к Европе:

*Нам внятно всё: и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...*

Нам гораздо легче понять упрощённую европейскую душу, нежели европейцам – нашу: русскую, “загадочную”. Потому-то они на протяжении всей своей истории пытаются “упростить” нас. Отталкиваясь от этого, можно уже писать:

*Нам чужая душа — не потёмки
И не блеск Елисейских полей...*

Длинная мысль поэта искала в исторической тьме своё завершение и, в конце концов, нашла его в том, что Европа в конце своего пути выходит не на мифологический, а на кровавый путь разрешения тысячелетнего спора с Россией.

*И что же век тебе принёс?
Безумие и опыт.
Быть иль не быть — таков вопрос,
Он твой всегда, Европа.*

Он, этот вопрос, не славянский и, тем более, – не русский. Наконец-то поэт вернул Европе этот гамлетовский вопрос! “Отдайте Гамлета славянам!” – взывал он. Да зачем им Гамлет? Да и славяне, которых Россия всегда спасала от мусульманского, романского и германского оккупанта, только и мечтают сегодня, чтобы Европа приняла их в свою семью, чтобы вместе с германцами, романцами и англосаксами править оставшимся многоплеменным “нецивилизованным” миром. Поддавшись этому соблазну, они рано или поздно отшатываются от России, о чём 150 лет тому назад предупреждал Достоевский: **“Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации”**¹. И поэт продолжает свой разговор с Европой, в которой даже многие славянские народы объединились для похода на Россию под знамёнами тысячелетнего Рейха:

*Я слышу шум твоих шагов.
Вдали, вдали, вдали
Мерцают язычки штыков.
В пыли, в пыли, в пыли
Ряды шагающих солдат,
Шагающих в упор,
Которым не прийти назад,
И кончен разговор.*

Да. В 1941 году многовековой “культурный” разговор России с Европой закончился, и об этом именно написана поэма Кузнецова “Дом”. “Нет воли к жизни на земле, а воля к власти есть” – это о Фридрихе Ницше и его книге “Воля к власти”.

Вместе с Ницше Юрий Кузнецов засунул в жерло своей поэтической мясорубки и Гамлета с его навязшим в зубах вопросом, и Кипплинга с его легионерами, шагающими по Африке, и эхо бессмертного сталинского приказа № 227 с его звучащими до сих пор словами “Ни шагу назад!”, и вопли наших солдат, идущих в атаку:

¹ Разве не такого рода вопли слышим мы сегодня от “народных витий” “незалежной” Украины?

*Как тьма разодраны уста,
— Ура! — гремит по краю.
— За нашу Родину! За Ста...
Степан, ты жив? — Не знаю...*

Ну какие после всего этого могут быть споры и счёты с Данте, с Шекспиром, с Ариосто, **“когда мы бездну перешли?”** Когда на место античных героев стали Сергей Радонежский и связист Путилов, Пересвет и Федора-дура? Вот тогда и пришло окончательное прощанье Юрия Кузнецова с Западом и его Средиземноморьем.

Момент истины наступил. Вся Европа, объединённая расистской волей “сумрачного германского гения”, ринулась на Восток... “*Мерцают язычки штыков / в пыли, в пыли, в пыли...*” Кузнецов окончательно сделал выбор, демонстративно повторив мысль Пушкина из стихотворения “Клеветникам России”:

*Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов.*

Осип Эмильевич не дозрел до такого рода обобщений. Европа приказала “Быть!” своим “озлобленным сынам”, своим гамлетам, швейкам, роландам, петраркам, уленшпигелям, гаргантюа и пантагрюэлям, кандидам и даже дон кихотам, влившимся в испанскую голубую дивизию: “Быть!”

...Вспоминаю, как после XX съезда КПСС, в разгар мутной хрущёвской оттепели, летом 1956 года мы, студенты МГУ, проходили военные сборы на берегах Волги в Гороховецких лагерях. Маршировать нас учили нещадно, каждый вечер мы чувствовали, как высохшая на гимнастёрках соль чуть ли не царапает наши спины. Выдерживать маршевые нагрузки нам помогли маршевые песни. Но подо что мы, в то оттепельное время стремившиеся разрушить “по инициативе партии” все “железные занавесы” и официальные патриотические догмы, маршировали в столовую, на стрельбище, в баню? Под маршевую песню “Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”? Под “Марш энтузиастов”? Под марш “Артиллеристы, Сталин дал приказ”? Увы... Мы маршировали, надрывая свои молодые глотки, под марш “иностраннных легионеров” или экспедиционных корпусов, завоевывавших для белой Европы богатства Южной Америки, Африки, Вест-Индии, Малайзии и прочих земель, заселённых “недочеловеками”, под марш апологета белой англосаксонской расы Редьярда Киплинга:

*День — ночь. День — ночь.
Мы идём по Африке.
День — ночь. День — ночь.
Всё по той же Африке.
И только пыль, пыль, пыль
От шагающих сапог.
Отдыха нет на войне солдату...
И только пыль, пыль, пыль...*

Несомненно, что Юрий Кузнецов, учившийся в середине 60-х годов в Краснодарском пединституте, знал этот манифест западной воли к власти, талантливо переведённый знаменитым поэтом сталинской империи Константином Симоновым. Понять и выразить всемирно-исторический смысл столкновения двух миров — европейско-арийского и русско-славянского — было под силу только поэтам мифологического склада. В двадцатом веке такого рода поэтом наряду с Кузнецовым был, видимо, Даниил Андреев, зревший, как дух Германии сплачивает нашествие “двунадесяти языков” Европы на нашу Родину:

*Как призрак, по горизонту
От фронта несётся он к фронту.
И с гением расы воочью
Беседует бешеной ночью...*

В то время (конец сороковых годов) ещё никто из поэтов, кроме Андреева, не понимал мистического смысла минувшей войны:

*Но странным и чуждым простором
Ложатся поля снеговые.
И смотрят загадочным взором
И Ангел, и демон России.
И движутся легионеры
В пучину без края, без меры,
В поля, необъятные оку, —
К востоку, к востоку, к востоку...*

И слово-то нашёл поэт точное — “легионеры”, — интернациональный легион фашистской Европы, готовившейся к завоеванию евразийского востока несколько столетий, со времён “духа высокого Средневековья”... Историческая заслуга Юрия Кузнецова заключается в том, что он в стихотворении “Петрарка” и в поэме “Дом” “пошёл поперёк” и сломал традицию поклонения наших западников Ренессансу Европы с его великими художниками, скульпторами, архитекторами, религиозными реформаторами, сломал культ, в фундаменте которого было немало вложено и Карамзиным, и молодым Пушкиным, и Гоголем с его “Арабесками”, и Брюлловым, и Поленовым, и Серовым, а в XX веке — и Осипом Мандельштамом, не говоря уж об Иосифе Бродском.

Но вспомним, кроме людей культуры, другие знаменитые имена, которыми до сих пор гордится Европа: Колумб, Кортес, Писарро, Васко да Гама, Америго Веспуччи, Джеймс Кук. Многие из них изображены на полотнах и в печатных хрониках того времени в рыцарских доспехах, в шлемах, со щитами, копьями и мечами. И, конечно, с крестами. Но все они завоеватели, конквистадоры, о которых поэт — современник Блока — писал:

*Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвёт пистолет,
Так что сыплется золото с кружев
Розоватых брабантских манжет.*

Но ещё с большей жестокостью, нежели бунты на борту, они подавляли бунты туземцев и аборигенов в Америке, Африке и Вест-Индии. Наверное, они, если умели читать, ценили любовные сонеты Петрарки. Но если бы Осип Мандельштам дождал до 1941 года и до того, чтобы прочитывать письмо Петрарки епископу Генуи, он, живший на воронежской земле, посыпал бы свою голову пеплом.

Несколько лет тому назад я случайно попал в воронежский городок Россошь, где итальянские дивизии вермахта находились два с лишним года. Зашёл в музей Великой Отечественной войны, переполненный стендами, экспонатами, выставками с множеством фотографий итальянских чернорубашечников в немецкой форме, посланных на Восток ихним дуче на завоевание колоний для Италии. На стендах множество их писем к родственникам в Геную, в Рим, во Флоренцию, где они жалуются родным на жуткую жизнь честных солдат, выполняющих свой долг в этой варварской стране. На фотографиях — несчастные, обросшие щетиной, исхудавшие лица потомков Ромула и Петрарки. Заблудились они в этих скифских степях, тоскуют они по своим детям и жёнам, оставшимся в Тоскане. Музей этой “итальянской славы” создан, как мне было сказано, на итальянские деньги. Здесь стоят в качестве экспонатов их мундиры, их пилотки, их котелки, их оружие, из которого они убивали скифов, не пожелавших стать рабами флорентийцев и веронцев. Я вышел из музея, плюнул на порог и вспомнил стихи Михаила Светлова:

*Чёрный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, —
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...*

*Молодой уроженец Неаполя!
Что в России оставил ты на поле?*

*Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?*

.....
*Разве среднего Дона излучина
Иностранным учёным изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?*

*Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далёких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...*

*Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!..*

В молодости Михаил Светлов, бывший по убеждениям троцкистом, призывал деятелей мировой революции к походу на реакционные буржуазные режимы Европы, “чтоб землю в Гренаде / крестьянам отдать”. Но прошедший школу сталинского построения социализма “в одной отдельно взятой стране”, он переродился в советского патриота, который исповедовал совсем другое:

*Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.*

Вот такие трагические шутки шутит история с людьми. В россосанском музее нет его “Итальянца”, а это стихотворение должно там быть на самом большом стенде, на самом видном месте.

С россосанской землёй, с “молодыми воронежскими холмами” связана судьба ещё одного замечательного русского поэта — Алексея Прасолова (1930–1972).

Его детство и отрочество прошли в оккупации. По некоторым сведениям, на его глазах потомки Нибелунгов и Петрарки изнасиловали его мать.

Вспоминая время оккупационного рабства и освобождение воронежской земли от “европейских гуманистов”, Прасолов написал в 1965 году одно из лучших, на мой взгляд, стихотворений об эпохе Великой Отечественной, перекликающееся и со стихотворением Светлова о несчастном итальянце, и со стихотворением Юрия Кузнецова о Петрарке, попавшем на Восточный фронт:

*Ещё метёт во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупу труп, —
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя метель.*

*Свозили немцев поутру.
Лежачий строй — как на смотре,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упёртых в белую метель.*

*А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мёртвой переключки их
Нарушить не хотел.*

*Какую боль, какую месть
Ты нёс в себе в те дни! Но здесь*

*Задумался о чём-то ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.*

Какое христианское стихотворение написал Прасолов в 1965 году! Нам, оказывается, мало “одной победной правоты!”

А “шорох бескровных губ” (переключка мёртвых!), а сверкающие “гвозди их сапог”, а “руки талые вдоль тел” — этого выдумать нельзя, это нужно видеть и пережить. “Свозили немцев поутру”, — конечно, там в этой горе трупов были не только немцы, но и потомки римских цезарей, и румыны, и венгры и прочие гуманисты-сверхчеловеки, но все они были в одной форме, и в сознании подростка все они были “немцами”. “Какую боль, какую месть ты нёс в себе!” — это, видимо, воспоминание о том, как *просвещённые* сыны Запада надругались над его матерью.

Европа... “почти античный запах...” Но от обмороженных потомков Петрарки, заблудившихся в воронежских степях, пахло мочой, кровью, гноем, солдатским потом, а не “пленительной смесью” “из грусти пушкинской и средиземной спеси” (О. Мандельштам).

При всём при том Юрий Поликарпович более чем холодно относился к творчеству Осипа Эмильевича. **“Терпеть не мог Мандельштама, не признавал его как поэта <...> заявлял: ваших мандельштамов не читал и не собираюсь”** (из воспоминаний Ю. Кабанкова). Я думаю, что это было сказано “ради красного словца”, чем Юрий Поликарпович иногда грешил, потому что в уже упоминавшихся воспоминаниях о нём Петра Чусовитина Кузнецов цитирует Мандельштама: **“Где вы, четверо славных ребят из железных ворот ГПУ” — поразительные по расхристанности строчки**... А ведь Кузнецова “поразить” чем-то было трудно. Но он прочитал это наизусть. Запомнил. Хотя и ошибся: в оригинале “славных ребят” не “четверо”, а “трое”. Вероятно, гордыня не позволила ему признать, что он читал какого-то Мандельштама, однако в средиземноморском цикле Осипа Эмильевича есть такое стихотворение:

*Гончарами велик остров синий —
Крит зелёный, — запёкся их дар
В землю звонкую: слышишь дельфиных
Плавников их подземный удар?..*

Не удержусь от соблазна сравнить это стихотворение с кузнецовским:

*Из земли в час вечерний, тревожный
Вырос рыбий горбатый плавник.
Только нету здесь моря! Как можно!
Вот опять в двух шагах он возник.*

*Вот исчез. Снова вышел со свистом.
— Ищет моря, — сказал мне старик.
Вот засохли на дереве листья —
Это корни подрезал плавник.*

Помню, как этим стихотвореньем восхищался Палиевский, не разглядевший в кузнецовском “переводе” мандельштамовский “подстрочник”, может быть потому, что Пётр Васильевич слишком скептически относился к творчеству Осипа Эмильевича: “жидовский нарост” на Тютчеве”, — шутил Пётр Васильевич, не желавший понять, что Осип Мандельштам мечтал о “крупнозернистой” эпической жизни и сокрушался:

*Тому не быть: — трагедий не вернуть,
но эти наступающие губы, —
но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.*

Точно так же сокрушался об “измельчании” мира и современности молодой Юрий Кузнецов: **“но этот мир лишился глубины и никому уже он не приснится”, “А нынче, где он, бог Пигмалиона”** и т.д.

Поиски “крупнозернистой жизни” шли у поэтов в одном направлении, несмотря на то, что эпическая струя из Кастальского источника, казалось бы, окончательно пересыхала, а само русло превращалось в какую-то сточную канаву рифмованной риторики или пошлого постмодернизма.

Но это ли не свидетельство того, что Юрий Поликарпович не только знал стихи своего собрата по Парнасу, но и брал приглянувшиеся ему недоразвитые образы, “доразвивал” их и очищал от русскоязычного косноязычия. И ничего в этом недостойного я не вижу, поскольку Поликарпович был одним из самых образованных поэтов своего поколения. Книжная часть жизни была для него источником глубочайших впечатлений. Ведь мог же он, прочитав книгу В. Розанова “Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови”, написать стихотворение “Мне снились ноздри!”, мог, услышав от Петра Палиевского одну из мистических средневековых легенд, вдохновиться и создать поэму “Змеи на маяке”, мог одну фразу из “Народных русских сказок” А. Н. Афанасьева “развернуть” в целое стихотворение “Я скатаю родину в яйцо”. Он всё “чужое” легко и естественно делал “своим”. Более того: у Осипа Мандельштама есть тёмная, косноязычная поэма о мире после Первой мировой войны. У Юрия Кузнецова есть стихотворение “Встреча” — о мире после Второй мировой. Один из отрывков мандельштамовской поэмы звучит так:

*И дружит с человеком калека —
Им обоим найдётся работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка:
— Эй, товарищество — шар земной!*

Удивительно, что Осип Эмильевич не разглядел того, что в почве униженной до предела и разорённой Германии после Версальского мира уже прорастают коричневые семена возмездия, созревшего в душе потомков Одина, возмездия, остриё которого направлено на спесивых англосаксов, унтерменшей — славян, и конечно же, в первую очередь на мировое еврейство. Унижать «сумрачный германский гений» — опасно.

В мировом литературоведении есть такое понятие, как бродячие сюжеты, может быть, поэтому стихотворение Кузнецова звучит, как вариация мандельштамовского сюжета:

*На мосту, где двоим разойтись — ни малейшего шанса,
Одноногий поляк увидел одноногого Ганса.
— Ой, вы ноги мои! — Тот без левой, а этот без правой,
Тот хромал Сталинградом, а этот гордился Варшавой.*

*— Доннерветтер! — Пся крев!
— повстречались глухие проклятья.
Чтобы им разминуться, они обнялись, словно братья.
Ноги стали на место — сошлись на мгновенье дороги,
И опять разошлись... ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, вот твои ноги!*

Но насколько у Поликарпыча всё получилось зримее, чувственнее, объёмнее, афористичнее! Словом, как говорит древняя римская пословица, “Победителей не судят”... Но и о первоисточнике грешно забывать. И переключку слов “товарищество” и “человечество” надо помнить. Кто-то из критиков проныцательно заметил, что Ю. К. использовал порой символы и образы других поэтов для своих мифологических построений... Вот тут-то ему и пригодились некоторые “мандельштампы”. А откровениями, наваждениями, сновидениями творчество Осипа Эмильевича насыщено в не меньшей степени, нежели творчество Юрия Поликарповича... Но “стихотворное тело” наваждений Кузнецова куда полнокровней, куда телесней, а потому его наваждения, даже неразгаданные, куда более властно, нежели мандельштамовские “темноты”, захватывают нас в свои горячие объятия. “Дух дышит, где хочет”, — и поэт, посланец духа, берёт, где хочет и что хочет.

*В зимнем воздухе птицы сердиты,
То взлетают, то падают ниц.
Очертанья деревьев размыты
От насевших здесь сотням птиц.*

*Суетятся, кричат — кто их дразнит?
День слюится в прозрачной тени.
На равнине внезапно погаснет
Зимний куст — это снова они.*

*Пеленою полнеба закроют,
Пронесутся, сожмутся пятном,
И тревожат, и дух беспокоят.
Что за тень?.. Человек за окном.*

*Человека усеяли птицы,
Шевелятся, лица не видать.
Подойдёшь — человек разлетится,
Отойдёшь — соберётся опять.*

Когда-то, лет пятьдесят тому назад я, будучи в турпоездке в Швеции, посмотрел страшный фильм Хичкока “Птицы”. Прочитав стихотворение Кузнецова, я второй раз испытал тот же ужас... Вы скажете, что это от Хичкока? Ну и что? “Когда б вы знали, из какого сора / растут стихи, не ведая стыда”, как сказала нелюбимая Юрием Поликарповичем Анна Андреевна. Весьма пронзительный и знающий современную поэзию критик в обширной статье “Латентный постмодернизм Юрия Кузнецова” не без оснований писал о прямой зависимости автора от прочитанных книг:

“Юрий Поликарпович фактически к любому из попадавшихся ему на глаза литературных произведений относился единственно как к СЫРЬЮ для своего персонального поэтического творчества, переделывая и “усовершенствуя” первоначальные тексты в соответствии со своей художественной логикой”.

Прочитав примеры такого “своеволия”, которые приводит критик, можно почти согласиться с ним, как и с ещё одним критиком, не без оснований утверждавшим, что Кузнецов порой переписывает сам себя... Но согласиться с такого рода суждениями о творчестве Кузнецова можно лишь на первый взгляд, потому что Александр Сергеевич Пушкин не раз занимался такого рода “аннексией”, но каждый раз из-под его пера выходили шедевры. Вспомним поэму “Анджело”, которая родилась из итальянских хроник, вошедших в сюжет драмы Шекспира “Мера за меру”, вспомним “Сказку о рыбаке и рыбке”, сюжет которой Пушкин позаимствовал из сборника сказок братьев Гримм, или “Сказку о Золотом петушке”, рассказанную в “Легенде об арабском звездочёте” Вашингтоном Ирвингом. Я уж не говорю о “Песнях западных славян”, которых бы не было, если бы Александр Сергеевич не прочитал книгу Проспера Мериме, но которые, тем не менее, считаются произведениями самого Пушкина! И “Пир во время чумы”, и “Каменный гость” тоже в своей основе опираются на европейские легенды и хроники.

Что же касается использования поэтами одних своих сочинений для создания других, то опять сошлюсь на авторитет Александра Сергеевича. В 1830 году, находясь в Болдино, Пушкин написал знаменитое стихотворение “Бесы”, в котором прошу обратить внимание на следующие строки: **“мутно небо, ночь мутна”, “Эй, пошёл, ямщик!”**, **“что там в поле? — кто их знает? пень или волк?”** А в 1836 году Александр Сергеевич закончил “Капитанскую дочку”, в начале которой её герои в оренбургских степях попадают в метель, буквально списанную Пушкиным со своего стихотворения “Бесы”: “Ничего не мог различить, кроме **мутного** кружения метели... Вдруг увидел я что-то чёрное. **“Эй, ямщик!** — закричал я, — смотри, **что там чернеется?**” Ямщик стал всматриваться. **“А Бог знает**, барин, — сказал он садясь на своё место, — воз не воз, **дерево не дерево**, а кажется, что шевелится. Должно быть, или **волк, или человек**”. Словом, переписал Пушкин сам себя.

Так что не будем придираться ни к Александру Сергеевичу, ни к Юрию Поликарповичу — поэтам виднее, где, что и у кого взять взаимны, а порой — и без отдачи.

IX. “Мы сновидения земли...”

Я возвращался из своих странствий по Беломорью, с берегов Мегры и Сояны, из беломошных ленточных боров и великих болот русского Севера, приходил в редакцию, доставал звено малосолевой сёмги, кромсал его охотничьим ножом, мы с Юрой открывали бутылку и начинали наши разговоры.

Я рассказывал ему, как в белую ночь при тусклом свете незаходящего солнца эта рыба схватила мою блесну среди гладких, обточенных льдинами валунов Кривого порога, как она разгонялась, со звоном выматывая леску с катушки, и, набрав бешеную скорость, взлетала из чёрной струи, тряся оскаленной пастью, стараясь избавиться от блесны. Как я смягчал её удар хвостом по звенящей леске, изматывал её и всё-таки вытаскивал, обмякшую от борьбы, на песчаный берег. А она, собрав последние силы, вдруг изгибалась черно-серебристым телом над жёлтым песком, мотнув головой, выплёвывала тройник и падала к моим сапогам на мелководье, замирая на мгновенье, словно бы не веря тому, что — свободна. Но этого мгновенья мне доставало, чтобы схватить её одной рукой за хвост, другой за жабры и бросить подальше от берега в пожухлые осенние травы.

Кузнецов слушал меня и улыбался — мрачно, но снисходительно:

— Пока ты какую-то сёмгу ловил, я другой ловлей занимался!

*На счастье взял он червяка
И пронизал крючком.
Закинул. Мёртвая река
Ударил ключом.*

*И леса взвизгнула в ответ
От тяги непростой.
Но он извлёк на этот свет,
Увы, крючок пустой.*

*Не Сатана сорвал ли злость?
В руке крючок стальной
Зашевелился и пополз,
И скрылся под землёй.*

— Вот это ловля! Это не какой-то твой лох! Я же нечистого подцепил. На этот раз он сорвался с крючка и ушёл... Но борьба не кончена, посмотрим — кто кого!

Поликарпыч затыкнулся сигаретой... Взгляд его в пространство был сосредоточен и серьёзен, а я глядел на него и думал: он что, всерьёз говорит или шутит? Ведь настоящая мужская жизнь — это моя. А он словно бы жалеет меня за то, что я трачу жизнь по пустякам, “расплёскиваю” её в неведомых ему лесах и на неведомых ему реках... Какая там Мегра или Угра, когда есть лишь одна река времени и забвения — Лета... “А, чем бы дитя ни тешилось!” — вот что было написано на его огорчённом лице, прорезанном глубокими морщинами.

— Юра! — соблазнял я его. — Поехали со мной осенью на Север. Ты, конечно, южный человек, и служил на Кубе, но вспомни Пушкина: “Здоровью моему полезен русский холод!” Поживёшь в тайге с её дождями, первыми заморозками, снежными зарядами, набегаем за день в поисках рыбы, а вечером придём к родной палатке, костерок разведём, рыбу разделаем, засолим, уху сварим, бутылку откроем, тишину послушаем. Река шумит, северные сплохи над нами вспыхивают, гуси в тёмном небе кричат... К югу уходят. Значит, скоро и река на плёсах ледком схватится... И нам тогда домой пора — за гусями, в южную сторону!

Юра печально улыбается, молчит, и я понимаю по этой улыбке, по этой отрешённости, что он душой много старше меня, хотя по паспорту и моложе. И где сейчас гуляет его душа, в каких просторах, я этого никогда не пойму. Тяжело ему жить в мире мифов, в мире высокого давления, и внешнего, и внутреннего. Оттого и старился он быстрее меня, и волосы поредели, и взгляд стал слишком неподвижен, скорее всего, он в себя глядел, и под глазами — мешки тяжёлые, отёкшие.

Я гляжу на его скульптурное лицо и мысленно укоряю себя: что я к нему пристаю со своей вольной волей, с гусиными стаями, со всей брэнной красо-

той Божьего мира? Всё это такое зыбкое, такое преходящее, такое ненадёжное! А он не с деревьями и ручьями — он с высшими силами разговаривает, ищет ответа на проклятый вопрос: “Может, Бог тебя во сне приветил, / или чорт поставил свой рожон”... Ты вытащил сёмгу на полпуда или глухаря, вышедшего к реке, чтобы набить зоб к зиме мелкими камушками, подстрелил и счастлив своей удачей. А каково Поликарпычу, которому открылось, что

*России нет, тот спился, тот убит.
Тот молится и дьяволу, и Богу...*

Поликарпыч между тем поднимает богатырской рукой стопку:

— Ну, за твою рыбалку, за твой фарт!

... Так христианин он или нет? Бог с дьяволом у него на равных правят миром, как две вечные силы, как близнецы, выношенные одной утробой.

Осознание этой связи всегда волновало Пушкина, чувствовавшего двусмысленность человеческого бытия:

*Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...*

И Юрий Поликарпович тоже чувствовал единство “тварного” и “духовного”, как мало кто из русских поэтов XX века. Ну, пожалуй, кроме Есенина, с печалью признававшегося:

*Слишком я любил на этом свете
Всё, что душу облакает в плоть.*

А у Поликарпыча даже копьё святого Георгия Победоносца живёт “равновесием света и мрака”. Но как же ему тяжело нести в себе самом такое невыносимое знание и о русском человеке, и о родине!

*Посмотри! Твою землю грызут
Даже те, у кого нет зубов.
И пинают, и топчут её
Даже те, у кого нету ног.
И хватают родное твоё
Даже те, у кого нету рук.
А вдали, на краю твоих мук,
То ли дьявол стоит, то ли Бог.*

А может быть, это своеобразная ересь, бунт против евангельского христианства с языческих высот (или низин), соблазн, который Юрий Поликарпович носил в себе, как родимое пятно, всю жизнь и с которым всю жизнь боролся, приближаясь к другим, Сионским высотам? Но и движение к ним, увенчанное поэмой о жизни Христа, было у Юрия Поликарповича своеобразным, как крещение у древних готов, которые, спускаясь в речную купель, поднимали над поверхностью воды руку с зажатым в ней мечом, “чтобы кулак остался некрещёным”. Культ героического соблазнительен, но опасен потому, что смыкается с культом всех мировых сил, время от времени восстающих против божественного миропорядка: восстание ангелов, подвиг Прометея, борьба Иакова с ангелом — все эти и другие примеры всегда питали соблазн и волю героев и легионов, штурмовавших небо. Но соблазн собственными силами справиться с истоками мирового зла тоже велик. Безнаказанно вторгаться в потусторонние античеловеческие миры, совершать вылазки в стан врага рода человеческого, а потом возвращаться здоровым и неповреждённым не под силу человеку. Оттого-то после таких партизанских рейдов в памяти и в душе слышатся голоса, проплывают видения и галлюцинации неизвестного происхождения. Давление этих тёмных сил временами бывало столь невыносимым, что человек буквально обрушивался в бездну отчаяния:

*Из лона Матери-Земли
Во тьме предродовой
Дурные воды потекли —
Мир скрылся под водой.*

*Земля от мук изнемогла
И позабылась сном.
Во сне младенца родила
В ночь перед Судным днём.*

*Среди бледнеющих светил
Взошла заря стыда.
И крик младенца возвестил
День Страшного Суда.*

*Мы не восстанем во плоти
Перед лицом Суда.
Да нас и не было почти
Нигде и никогда.*

*Мы показаться лишь могли
В ту ночь на Рождество.
Мы — сновидения Земли
И больше ничего...*

Да, конечно, это тютчевская космическая картина:

*Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё сущее опять покроют воды,
И Божий лик отобразится в них.*

Но у Тютчева в изображении этого космического возвращения земли к своему началу — “Земля была безвидна, и лишь дух Божий носился над водами” — нет ни одного слова о человеке и судьбе человечества. Словно их и не было никогда на Земле.

У Кузнецова же космическая катастрофа происходит в конце истории человечества, в День гнева, когда наступает Второе Пришествие Спасителя одновременно со Страшным Судом и с рождением некоего Младенца не из женского лона, а “из лона Матери-Земли”. Стихотворение называется “Сновидение в ночь на Рождество”. Именно не “сон”, а “сно-видение!” Но чьё Рождество мерещится поэту и почему оно сопровождается страшными предзнаменованиями: “дурные воды потекли”, и “мир скрылся”, объятый этими водами, и земля “изнемогла от мук”, и что это за Младенец, возвещающий День Страшного Суда, о сроках которого знает лишь один Господь Бог, и почему, вопреки всем милосердным пророчествам, “мы не восстанем во плоти / перед лицом Суда”? А где же “бессмертие души”? Неужели это стихотворение о рождении Антихриста, рождении, которое исказит и перечеркнёт всю суть Священного Писания, все ожидания и упования грешного человечества на милость Божью? Но тогда небо совьётся в такой чёрный свиток, который и не снился Иоанну Патмосскому... А коли так, то и вся земная история превратится в “столб клубящейся пыли”, а все земные сыны и дочери, от Адама с Евой и до последних христиан, превратятся в “сновидения земли, и больше ничего”. После такого отчаянья воскреснуть душой немислимо, из такой бездны искушения, из такого тла подняться к свету — невозможно. Я всегда с негодованием отвергал утверждения иных критиков о сходстве некоторых зигзагов мысли у Юрия Кузнецова и Бродского. Но когда прочитал “мы — сновидения земли и больше ничего”, то вспомнил “Пилигримов”: “И, значит, не будет толка от веры в себя да в Бога... И, значит, остались только иллюзия и дорога”, и опечалился: раствор “дурных вод”, раствор скепсиса и отчаяния у них обоих таков, что в нём растворяется, по словам Тютчева, “всё сущее”.

Но мой поэт помнил моление о чаше: **“Отче, пронеси эту чашу мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя!”** И вопреки всему пошёл на “божественный риск”, вырвался из воронки небытия к подвигу своей духовной жизни — к поэме о Христе, в первых словах которой звезда Вифлеема своими лучами просветила тьму “дурных вод”, чуть было не затопила Вселенную:

*Памятью детства навеяна эта поэма.
Встань и сияй надо мною, звезда Вифлеема!
Знаменьем крестным окстил я бумагу. Пора.
Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера!*

Х. “Полюбите живого Христа”

В последние времена второго тысячелетия с Юрием Поликарповичем стали происходить загадочные перемены. Он, и доселе немногословный, вообще перестал разговаривать на всяческие бытовые и журнальные темы, приходил на работу незаметно, читал рукописи, сдавал их в очередной номер и уезжал домой или на дачу во Внуково. Из его кабинета уже не доносились шумные разговоры, которые обычно случались, когда к нему приезжали его птенцы из провинции. Однажды, перехватив мой вопрошающий взгляд, он всё понял и объяснил причину этой новой для него сосредоточенности:

– Я поэму о Христе обдумываю. Он ведь был первым поэтом человечества, он мыслил и разговаривал с народом, как поэт. . .

– В какой номер планировать? – пошутил я.

– Надеюсь, что на переломе времён, в двухтысячном году принесу первые главы. Нам надо прорваться – начинается третье тысячелетие со дня его появления в мире!

Так оно и вышло. В четвёртом пасхальном номере за 2000 год была опубликована первая часть поэмы, названная “Детство Христа”.

Но одновременно с началом работы над поэмой Поликарпыч написал стихотворение, которое отвечает многим скептикам и клирикам, что подвигло его на этот “Божественный риск”, на то, что он снова “пошёл поперёк”:

*Полюбите живого Христа,
Что ходил по росе
И сидел у ночного костра,
Освещённый, как все.*

*Где та древняя свежесть зари,
Аромат и тепло?
Царство Божье гудит изнутри,
Как пустое дупло.*

*Ваша вера суха и темна,
И хромает она.
Костыли, а не крылья у вас,
Вы разрыв, а не связь.*

*Так откройтесь дыханью куста,
Содроганью зарниц,
И услышите голос Христа,
А не шорох страниц.*

“Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию, в которую Его превратили религиозные догматики”, – сказал Кузнецов в одном из последних своих интервью. Поэма “Путь Христа” – это возвращение автора не только к евангельским истинам, но и к красоте Божьего мира, которую он часто обходил во многих своих стихах, исполненных мыслей о бренности и ничтожности всего естественного, переходящего, тварного. Это уход от чёрно-белой палитры к сияющему многоцветию жизни. В этой поэме поэт бросает вызов аскетическому мышлению многих христианских богословов, в том числе знаменитому в Православии Игнатию Брянчанинову: **“Он и мои поэмы смёл бы с лица земли”,** – пишет Кузнецов 18.08.2003 года в одном из своих последних писем незадолго до смерти. . . **“По Игнатию Брянчанинову выходит, что надо уничтожить пшеничное поле потому, что на нём есть плевелы. Но плевелы надо отделять от злаков. Каждый злак ведь дорог! Но такой труд не для святителя. Он режет по живому и не замечает, что**

при этом льётся кровь. Каков монах! Каков инквизитор!”¹ “Игнатий Брянчанинов плохо знает людей, он их видит в узком просвете христианской аскезы. Он не понимает природы ума. Ум — производная чувства. Всё, что есть в уме, всё это есть и в чувстве, только в зачатке, в спящем состоянии. Умертвить чувства — значит, подорвать корни ума”.

Эти строки свидетельствуют о том, какие противоречия бушевали в его душе. В предсмертном своём стихотворении, написанном с 1 по 5 ноября 2003 года, Юрий Поликарпович отвечает от имени поэта монаху (своего рода Торквемаде), сказавшему: “Искусство — смрадный грех”, — страстным и неотразимым монологом:

*Ты умерщвляешь плоть и кровь,
Любовь лишаешь ощущенья.
Но осязательна любовь,
Касаясь таин Причащенья.
Какой же ты христианин
Без чувственного постоянства?
Куда ты денешь, сукин сын,
Живые мощи христианства?
Так умертви свои уста,
Отвергни боговоплощенье,
Вкушая плоть и кровь Христа
И принимая Причащенье.*

*При грозном имени Христа,
Дрожа от ужаса и страха,
Монах раскрыл свои уста —
И превратился в тень монаха,
А тень ослабленного рта —
В светящую воронку праха...*

При первой публикации этого стихотворенья в журнале “Наш современник” (№ 1, 2004) я, понимая, что иду на риск так же, как шёл на риск, печатая поэму “Путь Христа”, сопроводил публикацию коротким примечанием: “Когда Юрий Поликарпович за неделю до смерти показал мне это стихотворение, честно говоря, прочитав его, я смутился.

— Юра, — сказал я ему. — У поэтического опыта своя жизнь, а у аскетического — другая. Ты знаешь, что в одно и то же время жили два великих русских человека — Серафим Саровский и Александр Пушкин, и они ничего не знали друг о друге. По-моему, ты даёшь поэту слишком большие права, выходящие за пределы поэзии. Осуждать монаха словами “сукин сын” и делать поэта судьёй над монахом? Можно ли так?

Кузнецов, подумав, ответил:

— Согласно многим пророчествам, даже Антихрист может являться людям в обличье Христа... Ты видишь, что стало с монахом после слов поэта? Значит, это не монах был, а некто, скрывавший под монашеским обличьем свою тёмную личину. В “последние времена” такое может случиться. А я эти времена чувствую...”

Отстояв право христианско-православного мировоззрения изображать чувственную, плотскую красоту Божьего мира, Юрий Кузнецов дал своеобразный ответ не только adeptам христианской аскезы, но и многим ютившимся “около церковных стен” религиозным писателям Серебряного века — Влади-

¹ Обвинив Игнатия Брянчанинова в “инквизиторстве”, сам поэт, несомненно, сделал громадный шаг, отказавшись от некоторых своих убеждений, высказанных им в “Сошествии в ад”, где он в какой-то степени оправдывал жестокость Торквемады в борьбе с сатанинскими, антихристианскими деяниями “маранов”, “падших душ”, “еретиков” и “ведьм” средневековой Европы. Торквемада бродит среди сонма горящих грешников, “как зарница”, осеняет себя крестным знаменем, “слыша” их “проклятия Богу”, и скрежещет своим инквизиторским голосом фанатика Божьей правды:

Он скрежетал: “Я вершил на земле Божий Суд.
Я делал правильно. Все эти бестии тут”.
Он, как и там, не спускал с них горящего ока...

миру Соловьёву, Василию Розанову, Дмитрию Мережковскому, противопоставлявшим “бледную немочь” Нового Завета цветущему телесному здоровью Завета Ветхого, более того, своим пером он показал в “Жизни Христа” многоцветную жизнь раннего христианства. Недаром Ю. К. всегда утверждал, что Христос не только сын Божий, “но и поэт”.

К этой работе он готовился с особым рвением — отказывался не просто от запоев (которые у него порой доходили до того, что я однажды встретил его жену, сидящую в коридоре возле бухгалтерии, чтобы получить его зарплату), но даже от редких скромных застолий, бывавших в редакции, и даже перешёл на безалкогольное пиво. Правда, своих бывших сотрапезников, по привычке навещавших его, угощал с печальным спокойствием, словно жалея их. Он обложился историческими и богословскими книгами, апокрифической литературой, трудами святых отцов и, узнав, что у меня есть дореволюционное издание “Еврейской энциклопедии” 1912 года, буквально вцепился в неё, выпрашивая один за другим тома со статьями, посвящёнными жизни древнего Иерусалима, ветхозаветным пророкам, Вечному Жиду Агасферу.

Поэма сразу же очаровала меня уже своими первыми страницами. Чудо её состояло в том, что, читая их, я будто бы переносился во времена раннего христианства с его простодушием, с его восторженными надеждами на перемену жизни, с его свежестью чувств и трогательной евангельской наивностью Нагорной проповеди. Впечатление от чтения первых глав было таково, как будто Вера рождалась у меня прямо на глазах, словно я был одним из свидетелей или даже участников Преображения мира.

*Час Назарета склонился в глубокой печали.
Помер старейшина — плотнику гроб заказали.
Только Иосиф лесину во двор заволок,
Ангел явился и молвил: “Исход недалёк!”
Плотник с бревном, дева с милостью — так и бежали.
Грудь Марии, как в мареве горы, дрожали.
И, наконец, под звезду Вифлеема вошли,
Но в Вифлееме приюта нигде не нашли.
И во хлеву, на соломе она разрешилась
Чудным Младенцем... И ангелы пели: “Свершилось!”*

*Встала корова, качая тугим животом,
И облизала Младенца сухим языком.
Свет через крышу наутро Младенца коснулся,
И засмеялся Младенец во сне, и проснулся.
И, головой задевая коровьи сосцы,
Вышел наружу, где солнце, польнь и волчцы.
С правой руки — Дух Святой, его Ангел-Хранитель,
С левой руки — дух лукавый, его искуситель.
Белый Пегас расправляет седые крыла,
Чёрная зависть гуляет в чём мать родила.*

Последняя строка — почти цитата “Евангелия от Матфея”, в котором евангелист приводит слова Пилата: **“Ибо знаю, что предали его из зависти”**.

С таким пушкинским вдохновением, с такой пушкинской алчностью к красоте он не писал даже во времена своей молодости. Поистине поэма “Путь Христа” стала вторым рождением поэта Юрия Кузнецова.

Закончив очередную главу поэмы, Поликарпыч с особым торжественным и победным выражением лица заходил ко мне.

— Закрой дверь, скажи Наталье Сергеевне, чтобы никого не пускала и к телефону не приглашала, — сидел напротив меня и начинал самозабвенно читать. Прочитав, не спрашивал меня о впечатлении от прочитанного, но, видя на моём лице восхищение или одобрение, оставив рукопись мне, уходил довольный. В эти минуты в его лице появлялось что-то детское, обычное угрюмство исчезало, морщины разглаживались, и даже рот растягивался в какой-то застенчивой улыбке.

Однако моё решение опубликовать первую часть поэмы вдруг наткнулось на сопротивление моего старого товарища, писателя и священника Ярослава Шипова, который был членом редколлегии журнала, и общественное литературное

мнение считало его своеобразным духовником “Нашего современника”. Мы к советам Шипова прислушивались, он публиковал в это время на страницах журнала цикл своих рассказов, повествующих о жизни деревенского прихода в Ярославской области, где он прослужил несколько самых трудных лет нового смутного времени. Его весьма почитали наши сотрудники и особенно сотрудницы, считая по справедливости душевным батюшкой и крепким молитвенником.

А тут он, прочитав первую часть поэмы, твёрдо заявил мне, что печатать её нельзя, что хула на Духа Святого непростительна, и если я, как главный редактор, не послушаюсь его, то он выйдет из состава редколлегии и порвёт свои отношения с журналом... Я ответил Шипову, что если мы не напечатаем поэму, то совершим преступление против русской литературы, но на всякий случай попросил моих близких друзей – Вадима Кожина, Владимира Личутина, Владимира Крупина – прочитать её, а также решил показать поэму кому-нибудь из священников и богословов, знающих и любящих русскую поэзию. На эту мою просьбу откликнулись протоиерей Александр Шаргунов, поэт и богослов Николай Лисовой и священник, автор журнала, отец Дмитрий Дудко. Поскольку их отзывы о поэме нигде, кроме нашего журнала, не печатались, я решаюсь напомнить их новым читателям “Нашего современника”.

Самым убедительным для меня стало мнение отца Дмитрия Дудко, который сам приехал в редакцию, расспросил меня о том, как живёт и как чувствует себя Юрий Поликарпович, очень порадовался, что он ведёт трезвый образ жизни, вручил мне свои письменные размышления о поэме, а на прощанье благословил и автора, и меня, и всю редакцию журнала словами: “Никого и ничего не бойтесь – печатайте!”

XI. “Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера”

Священник Дмитрий Дудко

“ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Не знаю, почему вдруг забили тревогу, – и совершенно преждевременно: поэт Юрий Кузнецов не случайно, а по велению сердца обратился к христианским истинам.

– Он не пьёт? – спросил почему-то я встревоженно.

– Как стал писать поэму о Христе, в рот не берёт.

Начинаю вчитываться, сразу же поражают первые строчки:

*Памятью детства навеяна эта поэма.
Встань и сияй надо мною, звезда Вифлеема!
Знаменем крестным октил я бумагу. Пора!
Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера!*

Да, в самом деле, всё серьёзно, значительно. А всё ведь начинается от того рокового древа познания Добра и Зла, ведь мы хотели решить умом этого мира только: будем как боги.

А какие боги – посмотреть только, что происходит в нашей стране...

*Эй, на земле, где кусает свой хвост василиск!
Славен Господь! Он пошёл на Божественный риск...*

Вот тут надо бы немного подумать, что такое Божественный риск. Но, видимо, всё станет ясно, коль мы как следует вчитаемся в поэму.

Поэма меня начинает захватывать. Чтение я начал не с первой части, которую я сейчас читаю, а со второй: “Юность Христа”.

Я ещё осторожно набрасывал на бумаге мысли о поэме, но, видимо, не ошибся. Попробую сюда выписать, что я тогда написал:

“Поэма Ю. Кузнецова “Юность Христа”.

Самая значительная за всё время с 1917 года. Удивительные стихи, многозначительные образы наводят на очень большие размышления.

Некоторые пытаются проникнуть в сущность, это не удаётся. Не случайно поэт, закончив поэму о юности Христа, воскликнул:

*Подле поэмы я сяду на камень катучий
И подожду, что пошлёт ей судьба или случай,*

то есть сказать прозой: посижу и подумаю.

Поэма не для поспешного суждения.

Может смутить читателя некоторая вольность в выражениях. Это оттого, что мы сейчас знаем Христа как Бога, пришедшего нас спасти. А Христос здесь как Человек думает, что сделать, как спасти человечество.

Идёт спор между мудрецами иудейскими и Христом как человеком, но прозревающим Истину.

В поэму надо вчитываться.

Мне вспоминается другое произведение – Д. С. Мережковского “Иисус неизвестный”, хотя написано оно не стихами, а прозой.

Тоже заставляет задуматься. Мережковского обвиняли в мечтательности, меж тем как это не просто мечты. Лучшего произведения о Христе у литераторов я не нахожу. Здесь и основательность, и глубина чувств, и не меньшая глубина в размышлениях.

Если сказать просто, как о литературном произведении, то стоит поставить перед собой вопрос: знаем ли мы Христа?

Я тоже был сбит с толку, особенно суждениями Ивана Ильина, которого я глубоко уважаю, но когда вчитался внимательно, меня потрясло. Мережковский подошел ко Христу не как богослов, а как человек, ищущий во Христе спасения.

Так и Кузнецов, говоря о юности Христа, ставит нам вопрос: а не старились ли мы в суждениях о Христе? То есть, веруя во Христа, не просто ли чувствуем и живём по шаблону?

Юность – это пора, когда нужны юношеские силы, непредвзятый взгляд в будущее.

Спасибо Ю. Кузнецову за удивительную поэму, заставляющую нас думать и жить не по привычным законам и шаблонам, а, отрешившись от своих привязанностей и предвзятостей, смотреть на всё с чистым чувством. Тут можно даже воскликнуть по-евангельски: “Если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло”.

А теперь пошли дальше, по порядку, не торопясь. Мне захотелось разобрать всё, что высказано в поэме. Впрочем, почему это названо поэмой? Может быть, потому, что он как литератор пробуждается, а может быть, и по-другому.

Я за один присест прочёл всю поэму, все три части, и не заметил особого расхождения с канонической установкой. Кузнецов своими словами (как поэт, конечно, в образах) передаёт всё то, что, может быть, известно, но не прочувствовано.

В части о детстве использованы некоторые предания, апокрифы. Допустим, о птицах или о том, как Младенца обвинили, что он столкнул другого, всё остальное, как по Евангелию, хотя, может быть, непривычно для слуха ортодоксально настроенных.

Но это так должно, в этом-то и достоинство поэмы!

В том же номере, где напечатана глава о детстве Христа, есть и другие стихи поэта.

Невольно хочется выписать отдельные места:

*Что-то жжёт нас незримым огнём,
И душа расплзается в клочья.
Это ночью бывает и днём,
Но особенно душною ночью.*

Не начало ли это для раздумья о поэме о покаянии, только ещё осторожном?

*В толпе утрат меж прошлым и грядущим
Иду один, мне даже невдомёк,
Что здесь никто не думает о сущем,
Никто не знает, как я одинок.*

Если это относится только к самому поэту, то это пронзительные стихи и невольно выбивают слезу, но думаю, что он здесь говорит не только о себе — обо всех, кого не понимают и кто, может быть, даже себя не понимает.

*Иду-бреду, куда уносит ветер,
Куда глаза глядят и не глядят.
Я краем глаза всё-таки заметил
Иную жизнь на позабытый лад.*

Дай Бог, чтоб он только краем глаза, и иная жизнь, позабытая всеми нами, отчётливо представилась.

А вот это:

*Поднимите, дьяволы, стаканы
Выше свеч и белых облаков.
Не про нас ли говорят курганы
И тоскуют сорок сороков.*

Да, это про нас говорят курганы и сорок сороков звонят, чтоб мы возвратились в отчий дом. Через Россию в Царство Небесное.

А ещё:

*В чистом поле много дикой воли,
В синем небе много воронья.
А в посёлке — перекатной голи,
Пьяного крикливого рванья.*

Это жалость обо всех нас, ныне живущих. Обратившись к своей душе, невольно жалеют и другие души.

*Потянулись пьяницы на сопку
С облаками в драных рукавах.
Этот на карачках треплет тропку,
Тот ползёт на собственных бровях.
Дед по доброй воле негодует.
— Вы куда? — и за штанину хватать.
— Мы тикаем в недры, там не дует,
А на газы нам давно чихать.*

Только бы скрыться, где не дует ветер безбожия и преступления, а на все газы оставления просто чихать, они не так страшны, в мире творится более страшное.

*Ты убедился теперь? Ну, так веруй, Фома!
Ты звездошуп, но подальше держись от ума.*

Умом мира сего не понять Божественной истины, это уродство настоящего ума, хотя не значит, как обвиняют: христианство отвергает ум. Оно приветствует ум, но иной, который от любви и от чистого сердца.

Есть интересный образ: череп Голгофы и череп поэмы, что говорит о том, что, чтобы просто написать поэму, нужно иметь талант поэта, а написать такую, чтоб череп Голгофы перешёл в поэму, это надо самому перестрадать.

*Отговорила моя золотая поэма.
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.
Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.
Дай мне смиренную старость и мудрый покой.*

**“Мудрого покоя” просит у Бога поэт в последней строке.
Помоги Вам Бог, Юрий Поликарпович, пошли Вам осмысливающий
всё покой”.**

А теперь хочу повторить снова свои слова: удивительные стихи, многочисленные образы, наводящие на большие размышления.

Хочу обратиться и к братьям-литераторам: почему вас так встревожила поэма – причём с отрицательной стороны? Надо радоваться, не просто выискивать в ней какие-то несоответствия с чем-либо, а просто насладиться красотой поэмы.

Сам я лично испытывал большое духовное наслаждение, очень мне стал близким и родным сам поэт, а то, что есть какие-то разногласия, это всегда бывает. Помолимся друг за друга Богу. Помоги Бог всем литераторам, особенно русским, нести слово истины, пробуждая свои и другие души. Много горя и грязи сейчас у нас на Русской земле, чего не бывало даже при так называемых безбожниках-коммунистах. Время ли нам ссориться, протянем друг другу руки любви и примирения”.

Здесь отзыв заканчивается, но я прошу обратить внимание на четверостишие, которое в конце своего письма приводит отец Дмитрий Дудко:

*Отговорила моя золотая поэма.
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.
Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.
Дай мне смиренную старость и мудрый покой.*

Если читатель откроет журнал “Наш современник” № 2 за 2001 год, где опубликованы размышления Дмитрия Дудко одновременно с окончанием поэмы “Путь Христа”, то в последней строфе последняя строка звучит иначе: “Дай мне **великую** старость и мудрый покой”.

Но откуда взялось это разночтение?

Всё дело в том, что, когда я готовил поэму к печати, то сказал Юрию Поликарповичу:

– Юра! Подумай... Ты пишешь об Иисусе Христе, который сам показал человечеству пример высшего смирения и, предчувствуя грядущие крестные муки, даже взмолился, обращаясь к Отцу: “Пронеси эту чашу мимо, впрочем, не моя воля, но твоя!” И рядом с этой смиренной Иисусовой мольбой ты прошишь о “великой старости”... Опомнись, Юра! Давай вместо “великой старости” испросим “смиренную”...

Юра посмотрел на меня, как на богохульника, посягнувшего на что-то святое, на его мысль, на его слово. Но я был готов к спору.

– Юра! Слово важное, но лишь одно слово я прошу заменить.

Кузнецов задумался, попытался возразить мне, но не сумел сказать ничего убедительного, ничего неотразимого... Махнул рукою, – мол, ладно, делай, как хочешь, – и тяжёлым шагом вышел из моего кабинета...

Я облегчённо вздохнул и на другой день передал посланцу от Дмитрия Дудко текст поэмы, в котором старость была не “великой”, а “смиренной”... Вот почему именно этот вариант оказался в письме отца Дмитрия. Однако Кузнецов, внутренне не согласившись со мной, в вёрстке или в сверке, ничего мне не говоря, вернул в поэму свой прежний эпитет, исполненный гордыни.

Я ахнул, увидев исправленную строчку, возмутился и огорчился настолько, что сердце моего жестоковыйного друга дрогнуло, и вскоре он подарил мне книжное издание поэмы, где слово “смиренное” окончательно вытеснило слово “великое” – на этот раз уже по его собственной воле. Именно так публикуется эта строка во всех посмертных изданиях книг Юрия Поликарповича.

Однажды он попросил у меня пятый том “Еврейской энциклопедии”, в котором излагалась история встречи Иисуса Христа с Агасфером. Авторы статьи об Агасфере (одной из самых больших в томе) убедительно доказывали, что **“этот образ вечного скитальца, несомненно, плод средневековой фантазии”**, что **“этой легенды нет ни в апокрифах, ни в творениях отцов Церкви”**... Поликарпыч обсуждал со мной, вправе или не вправе он излагать эту легенду в своей поэме. Я не советовал ему, говоря: “Юра, ну, если бы хоть какой-то намёк об этой встрече был в Новом Завете!”

Но воображение поэта уже работало. И он резонно возражал мне: если этот сюжет придуман в Средние века, то почему он стал, как никакая другая евангельская легенда, суперпопулярным впоследствии? Почему и сегодня он живёт совершенно самостоятельной жизнью и в мифологической, и в бытовой людской памяти? Нет дыма без огня... И вот что получилось у него, в какую символическую картину эпизод из пути Христа на Голгофу он развернул – в легенду, из которой, кстати, и Гёте намеревался сотворить поэму и почти написал её. Но не окончил. А из-под пера Кузнецова она, эта сцена, вышла весьма впечатляющей:

*Медленно в гору Он шёл, как согбенная вера,
Остановился, услышав смехок Агасфера.
— Дай мне напиток! — запёкимся ртом произнёс.
— Если докажешь, что ты настоящий Христос,
Я утолю твою жажду, когда ты вернёшься.
Поторопись! Ты сейчас всё равно не напёешься.
— Я не спешу с возвращеньем, — ответил Христос.
— Я подожду... может быть. — Агасфер произнёс.
И разглядел Агасфера Христос, и прощёнья
Не дал ему: — Ну, так жди моего возвращенья!..
Золото мира заплачет в убогой нужде:
— Плачьте, народы, рыдайте о Вечном Жиде!*

Между тем за публикацию поэмы в журнале высказались, кроме Дмитрия Дудко, и Вадим Кожинов, и Владимир Личутин, и Николай Лисовой.

Против были протоиерей Александр Шаргунов и мой друг Владимир Крупин. Более того, в те дни я по приглашению архимандрита Сретенского монастыря отца Тихона поехал вместе с ним в монастырское хозяйство, возрождённое монастырём в одном из разорённых и спившихся колхозов Рязанской области. Там во время ужина, на котором было несколько насельников монастыря, я решился прочитать “Детство Христа” вслух. Но несмотря на всё моё вдохновенное чтение, отец Тихон с братией, мягко говоря, не восхитились поэмой. И всё-таки я не мог совершить преступление перед русской литературой, и первая часть поэмы была напечатана в апрельском номере за 2000 год. Сразу же после публикации священник Ярослав Шипов ушёл из редакции. А в 2006-м после него ушла и незаменимая заведующая нашим техническим центром – православная осетинка Марина Акколаева, его духовное чадо. Об этом я жалею до сих пор.

Из размышлений протоиерея Александра Шаргунова

“Поэзия есть богословие”, – утверждает Боккаччо в своём комментарии к “Божественной комедии”. “В том, что не ложь, – уже поэзия”, – пишет Золя. А Апостол Иаков в своём Послании напоминает, что “язык – огонь, прикраса неправды, смотри, как много вещества зажигает”. Слово, произнесённое с огненным вдохновением, может делать ложь привлекательной для многих. Совершенно понятно, что хуже всего – самая главная ложь – ложь о духовных событиях и явлениях. Христианское искусство – самое трудное, потому что, как всякое искусство, оно требует быть правдивым и подлинным. А этого невозможно достигнуть понаслышке, одним воображением. Где духовная правда, там и поэзия. “Все прочее – литература”, в лучшем случае – бумажные цветы. Бог не любит литературу, Он любит голубые глаза ребёнка. Мы не говорим здесь о таком искусстве, которое, несомненно, имеет право на существование – искусстве-ремесле со скромным даром, предназначенным к нравственной пользе или развлечению людей. Оно старается по мере своих сил украсить человеческую жизнь, не претендуя на высокую духовность, потому что не знает её.

Горе нам, если наш дух не устремляется к высшей красоте, – туда, где тайна Пресвятой Троицы и человечество Христа. Но смертельная ошибка – принимать наше собственное воображение за видение выс-

шей красоты. И даже если поэт говорит: “Ключ ко всему – любовь” (Рембо), несмотря на эти сияющие слова, он может находиться в великом заблуждении. Все древние и новые ереси (каждая из которых – духовная смерть) могут расцвести у него, когда он начинает говорить о Боге. Человек призван к высшему созерцанию – к Божественной красоте. И поэтому его можно обмануть в самом главном, ограбить его в истинном благе, предлагая ему в своём искусстве вместо истины – ложь. Это происходит каждый раз, когда поэт предпочитает себя и своё – Красоте. А эта нечистота, идущая от первородного греха, неизбежна, она всегда присутствует в искусстве. Поэт обречён искать и не находить чистоту и свободу, ради которых существует поэзия. Чистоты не может быть там, где плоть не распята, нет свободы, где нет Христовой любви. Мы видим в творчестве великих поэтов сражение добрых и злых ангелов, и последние хотя и явятся в виде ангелов света. Оттого, что нет различия падения от полёта, повторяется этот грех ангелизма и непрестанное падение с той же самой ангельской высоты. Эти места, по которым проходит поэт, на поверку не окажутся ли самыми низкими? Неискущённому глазу порою трудно определить – под диктовку беса или доброго ангела написаны эти строки.

В поэме, на мой взгляд, есть действительно удачные куски – повествование о Тайной Вечере, о Голгофе, – где автор ничего не придумывает, а старается, в меру своего таланта, передать то, что говорит Евангелие. Но самое главное, непонятно, на какого читателя рассчитана поэма: неверующего она заведёт неизвестно куда, а у верующего вызовет естественное возмущение: как он смеет такое придумывать! Значимость всякого искусства определяется, в конце концов, тем, направляет ли оно ко Христу или к Антихристу, к разрушению веры или к утверждению её. Желание идти сразу двумя дорогами не помогает идущему скорее достигнуть цели. По природе вещей одна дорога шире другой и более лёгкая. Зло по существу легко, зло не имеет природы, но паразитирует на добре. Достаточно использовать немного добра, чтобы преуспеть сильно во зле, в то время как требуется много добра, чтобы достичь хотя бы небольшого успеха в победе над злом.

Хотелось бы пожелать автору не претендовать на изображение того, что ему не под силу, а позаботиться о том, чтобы абсолютность Евангелия вошла в его творчество закваской. И в сокровенности и глубине являла себя, о чём бы он ни писал. Ибо только в истинном свете каждый художник может осознать себя и исцелиться от ложной духовности, которой он одержим. Показывая, где подлинная нравственная правда и подлинная красота, такой поэт мог бы избавить себя и своих читателей от бессмыслицы верить, что он может создать иную нравственность и иную духовность. Кто брал у Евангелия уроки, чтобы цветы и плоды рождались в сокровенности духа, смирения и нищеты духовной, послушания Христу и Церкви Его, благоговейного отношения к трудам святых отцов? Поэзия – чудеса, творимые в тайне. Бог пришёл к своим (поэтам и людям), и свои Его не приняли. О, если бы поэт мог завести дружбу с мудростью святых, узнать цену чистоты сердца и увидеть, что любовь – это там, где семь даров Святого Духа, и она придаёт трудам человека бесконечно большую высоту, чем то, что может постигнуть его воображение”.

Из отзыва Вадима Кожинова

“Появление на страницах “НС” поэмы Юрия Кузнецова о земной жизни Иисуса Христа вызвало резкий протест у некоторых (слава Богу, очень немногих) священников и их прихожан, причём речь идёт не столько о каких-либо “неугодных” критикам элементах этого произведения, сколько о том, что поэт вообще не должен был его создавать...”

Однако если мы пойдём по этому пути, придётся отвергнуть значительную часть классических творений литературы и искусства, ибо художественное претворение религиозной темы не может полностью совпадать с каноническим богословием. Стоит напомнить, что никем,

кажется, ныне не оспариваемое полотно Александра Иванова “Явление Христа народу” в своё время подвергалось суровым нападкам со стороны чрезмерно “ортодоксальных” критиков.

Могут, впрочем, сказать и о том, что Льва Толстого, сочинившего в конце 1880-го – начале 1881 года своё “евангелие”, Церковь предала анафеме. Но дело обстояло, вопреки широко распространённому мнению, иначе. Во-первых, писателю ставилось в вину вовсе не сочинение о жизни Христа, а отрицание Его божественности и чудовищные хулы на Церковь. Во-вторых, Толстой не был – в отличие от Пугачёва или Мазепы – предан анафеме и даже, строго говоря, не был отлучён от Церкви. В “определении” Синода от 20–22 февраля 1901 года (то есть двадцать лет спустя после сочинения толстовского “евангелия”) констатировалось, что сам писатель “отрёкся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной”. Далее Синод объявлял: “Молимся, милосердный Господи... помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви”.

Разумеется, в поэме Юрия Кузнецова нет и намёка на отрицание божественности Христа и какой-либо хулы на Его Церковь. Что же касается таких элементов поэмы, которые могут быть оспорены с точки зрения канонического богословия, они в художественном творении поистине неизбежны. Точно так же, например, некорректно судить о художественном воссоздании явлений природы с точки зрения естественных наук.

Художественные произведения на религиозные темы создаются не для весьма узкого круга людей, обладающих существенными богословскими знаниями, но обращены ко всем людям, для которых восприятие таких произведений нередко становится наиболее доступным для них путём к обретению Веры.

Нельзя не сказать и об ещё одной стороне дела. За последние три четверти века русская литература (кроме эмигрантской и “подпольной”), в сущности, не обращалась к религиозным темам. Единственное, пожалуй, исключение – опубликованный в 1966–1967 годах в патристическом журнале “Москва” роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, который, кстати, наверняка вызывает у нынешних “ортодоксов” гораздо более резкое неприятие, чем поэма Юрия Кузнецова. И есть все основания – несмотря на любые возможные “несогласия” – радоваться появлению этой поэмы. Верю, что абсолютное большинство приобщающихся Православию людей воспримут её как достойное свершение крупнейшего нашего поэта в канун его славного юбилея”.

Из отзыва Николая Лисового

“Современная наша жизнь, как никогда, богата на странности и парадоксы. Позвонили однажды из дружественной редакции и спросили: “Не знаем, что делать – печатать ли стихи древнегреческого поэта Феогида?” – “А в чём вопрос?” – “Батюшка не благословляет”. – “А стихи хорошие?” – “Отличные!” – “И повод для публикации подходящий?” – “Актуальнейший!” – “Так почему ж не напечатать?” – “Батюшка не благословляет”. – “Да при чём тут батюшка?” – Изумлённое, почти гневное молчание на другом конце провода...”

С тех пор как во многих изданиях появились духовники и старцы, представители церковной иерархии в редколлегиях и творческих союзах, подобные разговоры совсем не редкость. Возникали они и при решении вопроса о публикации новой поэмы Юрия Кузнецова “Путь Христа”.

Попробуем разобраться. Наше смутное время, перипетии политической и духовной борьбы, бросающие интеллигенцию (в первую очередь, конечно, её) из крайности в крайность, привели к появлению многих неуместных новшеств. “Духовник редакции” относится к их числу.

Я не вправе предвзирать здесь читательского суждения о новой поэме Юрия Кузнецова. Одно может мне нравиться в ней больше, другое – меньше. Я, к примеру, вообще не думаю, что Евангелие нуждается в современных поэтических переложениях. Лучше – и поэтичнее! – евангелистов никто о Христе не скажет. Но если Юрий Кузнецов, большой поэт, много думавший, много перестрадавший в своей творческой жизни,

в пору зрелости и духовного расцвета обращается к евангельской теме, осознаёт “Путь Христа” как цель, к которой он, — может быть, подспудно, может быть, не всегда осознанно и последовательно — шёл всю жизнь, — слава Богу. Честь и хвала поэту, решившемуся на такое труднейшее, очень редкое в русской и мировой поэзии творческое свершение.

А что встретится в поэме те или иные непривычные для нас, даже шокирующие кого-то решения, есть художественные домыслы и субъективность поэтического видения — это естественно. Без этого не было бы художественного произведения, не было бы поэзии. Поэзия — не грех. Грех — только плохая поэзия”.

Из отзыва Владимира Личутина

“Нынче с помягчевшим взором Кузнецов вглядывается в небеса, чтобы разглядеть Спасителя, рождённого от земной женщины, ещё того, юного, полного соков, не утратившего земного обаяния, полного земных чувствований, но уже Бога. Наши предки могли ощущать Христа как человека, но мы за тьмою веков почти утратили это удивительное чувство. Опираясь на бытийные книги, Юрий Кузнецов пытается выстроить единое древо национальной культуры, корнями прочно стоящее в почве, а кроною тающее в занебесье, и нет ни проточины, ни дуплца, куда бы можно просунуться дьяволей козны и расчленишь исполина. И снова восклицают ревнивцы, как и двадцать лет тому: “Откуда в сём человеке дерзость? Откуда такое непослушество у гордеца?” И хочется возразить на эти недоумения. Поэты — это странное, неземное племя, ближе всего к Богу; они не пишут стихов, не добывают их из черниленки, не соскабливают с кончика пера, не разглядывают на дне рюмки или в кармашке портмоне, но они вышёптывают свои песни с небесных пюпитров. Ткань стиха настолько тонка порою и необъяснима, что похожа на кудеса, на мираж, она настолько блистающая и неуловима, что напоминает перламутровые чешуйки стрекозы, воспаряющей под облака. Поэты играют на тех духовных струнах, которые доступны лишь самым глубоким молитвенникам. Поэт, блуждая по громокипящему чреву жизни, слышит порою, как схимонах, погружённый в глухую скрытню. Поэту невозможно подсказать, как бы того ни хотелось; для этого надобно носить в себе золотую небесную трубу, а на груди — невидимые вериги.

И последнее: если, как говорят, душа человека растворена в крови, то истинный Поэт — это “певец крови”. Значит, он глубоко национален даже против своей воли, он певец “во стане русских воинов”, певец России”.

* * *

Историческое значение поэмы “Путь Христа” для русской поэзии состоит хотя бы в том, что после неё уже невозможно представить себе богохульного рифмованного “Евангелия от Демьяна Бедного”, написанного по заказу воинствующего безбожника Емельяна Ярославского (Миней Губельмана), или новаторских антихристианских пошлостей плейбоя хрущёвской эпохи, одного из легиона детишек XX съезда Андрюши Вознесенского: “Чайки в небе, как плавки Бога”, “крест на решётке — на жизни крест”, у которого “смазливая кассирша” в полукруглом окошке кассы — это “богоматерь”, а компания битников-наркоманов в лондонском масонском Альберт-холле — это “мини-Содом”, милый его душе. Откровеннее его был лишь Окуджава: “Мы земных земней, и в общем — / к чорту сказки о богах”... Почему-то никто из наших идеологов и критиков не обращал на эти хулиганства внимания, а на поэму Кузнецова навалились скопом...

Но как бы ни оценивать “Путь Христа”, для меня совершенно ясно, что, несмотря на множество оговорок, сомнений и возражений тех, кто считал невозможным любое расширенное толкование евангельских сюжетов, для Юрия Поликарповича создание этой поэмы было его личным, его собственным путём к Богу и к спасению души.

Когда он понял, что вершина его творческой жизни – это не гора Олимп, а гора Синай, то сразу же освободился от обаяния “античного запаха” Европы, от культа её “священных камней”, от “высокого духа Средневековья”, от всех “цветов зла” и “готических призраков”, от восхищения “русским богатырством”, от всех искушений азартной игры с адскими сущностями, от соблазна победить собственными силами “легионы тьмы”, от изнурительного поединка с крупными и мелкими бесами, прилипшими друг к другу, как змеи на маяке, и взшёл не на Золотую гору к “мастерам”, а вступил на крестный путь. Дальнейшая земная жизнь для него потеряла смысл, поскольку он исполнил всё, для чего пришёл на нашу грешную землю. Ему оставалось сказать одно: “Домой!”, – уподобиться персонажу из его стихотворения, *ушедшему по новому пути, где нет ни одной песчинки, о которую можно было бы споткнуться*. А Небесный Дом, к которому вёл этот путь, он начал “выстраивать” в поэме “Рай”, но не успел закончить эту работу. Да её и не дано закончить никому из людей. Может быть, в эти мгновения он и произнёс: **“Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...”** – и услышал в ответ: **“Ко мне, последние, ко мне!”**

XII. “Я испугался, что умру...”

Из дневников скульптора Петра Чусовитина: **“25 июня 2003 года. Звонок Ю. Кузнецова в 23.45. “Любезный Пётр... Я, как тебе известно, написал две поэмы. Замысел гигантский. Вторая опубликована в декабре... прошле уже полгода, и что же выяснилось... Бондаренко, оказывается, более чем полсотне людей предлагал что-то написать о моих поэмах, <...> и выявилась полная несостоятельность нашей элиты. Писал и послал “Путь Христа” Лапшину, он между строк о своих бытовых подробностях ответил: “Я бы так не написал”... И это всё! Спрашивал и у других мнение о “Сошествии в ад”, отвечают: “Мощно!” – или: “Есть необыкновенные строки”, – или: “Есть неудачные строки”... Но при чём здесь та или иная строка, когда речь идёт о целой поэме! Строки можно и выбросить. Вот я к тебе с какой печалью... И думаю: неужели же окончательно задавлена всякая мысль? Жаль людей...”**

С тех пор прошло более десяти лет, и как говорится, *“большое видится на расстоянии”*. Именно тогда, когда круг читающих и мыслящих людей усыхает, съёживается подобно шагреновой коже, наступает время, в котором проясняются смыслы предсмертных поэм Юрия Кузнецова, на которые он истратил последний “неприкосновенный запас” “накопленных за всю жизнь знаний” и душевных (и даже физических!) сил. **“Ну, скажи, – обращался он к Чусовитину, – какой поэт и когда мог написать такую вещь в 62 года? Когда ты начнёшь читать, ты почувствуешь, сколько в ней энергии. Гёте писал и в 70, в его стихах этой поры чувствуется мудрость, эрудиция, но энергии нет <...> Данте 12 лет писал, а я за полгода сотворил <...> В ней много едва затронутых идей, – обо всём же не напишешь, – которые могли бы стать источником вдохновения для других поэтов... А плотность какая!.. <...> Когда было написано уже около трёхсот строк, я испугался, что умру, и поэма останется незаконченной. Державин, к примеру, умер, не дописав стихотворение, ну, и что? Одним стихотворением меньше – ничего страшного. Но у меня же другой случай... Всё время думал: только бы не умереть, только бы не умереть”...**

И Господь услышал его мольбу и дал ему время, в сущности, для того, чтобы поэт окончательно для себя пересмотрел историю Европы со всеми её знаменитыми именами и кумирами, которыми Европа гордится до сего дня. Кого и за что отправил в ад Юрий Поликарпович, и каковы были его обвинения, аргументы и пересмотр своих прежних взглядов для подобных “внесудебных решений” – вот в чём заключается смысл поэмы “Сошествие в ад”. Во всяком случае, знания мировой истории у него были отменные.

В молодости Юрий Поликарпович искренне ценил “духом высокое Средневековье” Европы, с этого он начал переоценку европейских ценностей:

*А между тем, на ладони мерцала моей
Средневековая линия в царстве теней.*

И какова же она была, эта линия? Рыцари средневековых походов, легендарные крестоносцы по Вальтеру Скотту предстали перед ним в аду не как люди веры, долга, и чести, не как обожатели прекрасных дам, а как грабители, мародёры и богохульники:

*Словно волна за волной, или крестовые братья
К Божьему гробу. Молитвы сменяли проклятья.
Константинополь стоял, как заря, на пути
К Божьему гробу. Нельзя было глаз отвести.
Тучи сшибались, и души из них выпадали,
Грозно шумели они. Это рыцари брали
Константинополь. Корысть и отвага, вперёд!
Рыцари Бога забыли. А гроб подождёт.*

Адское наказание за подобное предательство веры пришло неотвратимо: “Сотни крутых тамплиеров трещали в огне”. Конечно, Ю. К. знал, что в огне трещат клопы, когда их собирают и бросают в огонь. Более того, легендарная Жанна д’Арк, идеал рыцарей Средневековья, для Кузнецова предстаёт ведьмой, а её любовник Жиль де Рэ, бросившийся на её спасение, — посланником нечистой силы. Но оба они пылают на берегу обрыва в адском пламени:

*Тщетно тянули друг к другу они свои руки:
Не сокращался никак промежутки разлуки.
Ногти на пальцах горели — и змеи огня
Их удлинляли, горячую память храня.*

Расправившись с рыцарями, поэт принимается за просветителей эпохи Возрождения:

*С неба послышался стук и в печаль нас поверг.
Это печатал чертей Йоганн Гутенберг.
Сыпался литерный град. И спросил я в печали:
— Кто вы такие? — И литеры так отвечали:
— Мы Гутенберги, и нас охраняет закон,
Ложь и свобода. И наше число — легион...*

Поэт прав. Именно с книгопечатания началась история жёлтой прессы, создание вавилонских башен всемирной демагогии, возникновение особой “второй древнейшей профессии” и разгул насилия над умами и сердцами “малых сих”. Поскольку “мир лежит во зле”, то все новейшие достижения цивилизации, как это ни прискорбно, умело используют в первую очередь силы зла.

А ещё я вспомнил, как русские средневековые иконописцы Новгорода и Пскова изображали чертей в аду — в виде чёрненьких полунасекомых с закорюченными конечностями и хвостами, похожих, действительно, на буквы Гутенберга.

Вслед за Гутенбергом Поликарпыч развенчивает главного героя средневековой Европы, по стопам которого вскоре разбрелись насильники и грабители всего Старого Света:

*С Запада солнце вставало, презрев свой обычай, —
Это Колумб возвращался в Европу с добычей.
Слышал я песню наживы и скрежет зубов —
Это мараны везли краснокожих рабов.
То не поленья трещали на лютom морозе —
То мародёры кричали в горящем обозе...*

Всего лишь одним словом “мараны” поэт обозначает национальную принадлежность знаменитого поработителя индейских племён и первого вождя корыстного племени конкистадоров и пиратов.

И ещё один кумир Европы становится очередной и заслуженной жертвой адского ритуала:

*Клетка свободы. А в ней голова человека.
То был властитель умов обмирщённого века —*

*Гордый Эразм Роттердамский. Его голова,
Видимо, Богу свои предъявляла права.
Крыса ему обгрызала надменные губы.
Космополит улыбался во все свои зубы.*

Я помню, как шестьдесят лет тому назад в Московском университете на лекциях по западной литературе доцент Цуринов преподносил нам Эразма, как властителя дум молодой буржуазной Европы и, естественно, как великого гуманиста.

Рядом с Эразмом в самое чрево ада по воле Ю. К. были помещены Фауст с Нострадамусом и Кальвин с Игнатием Лойолой, и, словно освобождаясь от своего юношеского увлечения Шекспиром, Поликарпыч низвергает и Гамлета, и леди Макбет, и прочих героев шекспировского театра “Глобус” в адское пламя и ставит печать насмешки на репутации лицедеев:

*Бог не играет. Играет и вертится бес.
Снится мне глобус, подобье Земли без небес.
Он на подставке вертелся, и самозабвенно
Он до того довертелся, что вспыхнул мгновенно.
Я отскочил и очнулся от сна своего:
Где-то в долине горела часть мира сего,
Люди бежали в тени золотого кумира...
Я узнавал в них бессмертных героев Шекспира.*

Эта картина куда убедительнее многих литературоведческих книг, вышедших и выходящих из-под пера профессиональных шекспироведов. Поэтические строки Кузнецова, как стрелы, вонзаются в самых “неуязвимых” персонажей европейского Средневековья и Возрождения.

А далее безжалостному воображению поэта не было предела: Кампанелла и Декарт, сумрачный Свифт со своими нелепыми великанами и лилипутами “спёкся в уголь по самые ноги”, “пошлый Вольтер” *разговаривал с “бледною тенью Руссо”*, который удостоился звания “диверсант просвещённого века” и “комкал в руке Декларацию прав человека”...

Всех колонизаторов беззащитного “третьего мира”, всех авантюристов и деятелей прогресса, всех именитых магистров рыцарских орденов и фанатиков религиозных войн, всех знаменитых масонов от Вейсгаупта до американского космонавта Эдвина Олдрина, оставившего в 1966 году на Луне флаг Тамплиеров, всех великих инквизиторов и вождей Французской революции, всех учёных Запада, от Мальтуса до Норберта Винера, Юрий Поликарпович Кузнецов, сопроводив неотразимыми диагнозами, усадил в адское пламя. А о том, кого он амнистировал или пощадил, сказал так: **“Многих в поэме нет. Нет ни одного архитектора, скульптора, художника... Я подумывал о Леонардо да Винчи... Улыбка Джоконды, пожалуй, тянет на ад, но вот написалось, как написалось... без неё”**...

Читая всё это, невозможно было поверить, что когда-то Юрий Поликарпович вздыхал о “священных камнях Европы”, поскольку теперь он отозвался о католичестве и папстве так, как даже Тютчев с Достоевским говорить не решались:

*Лысые горы взаимно сменялись в аду,
И на одной прозябала на самом виду
Церковь Гордыни. В ней бесы толпились. Над ними
Папа стоял на амвоне в тумане и дыме.
Он осенял крестным знаменьем, прах побери,
Череп убийцы с горящей свечою внутри
И проповедовал бесам...*

А в комментариях о папе Пие Девятом Юрий Кузнецов написал: **“В 1870 г<оду> на первом Ватиканском соборе под его давлением была принята “первая догматическая конституция церкви Христа” – о первенстве папской власти и папской непогрешимости. Полный текст этого чудовищного документа вряд ли знают сами католики”**. Ну, о каком экumenизме можно говорить после такого рода комментариев и приговоров!

Особенно изощрённым пыткам в кузнецовском аду был подвержен безусловный идол западного мира Зигмунд Фрейд, который свои личные сексуальные недуги попытался навязать всему человечеству:

*Фрейд помешался на сексе и был очень зол
На человечество. Только чертей не учёл.
Но заявлял, обнаружив чертей после смерти:
— Призраки мозга!
— Посмотрим, — ответили черти
И посадили его на осиновый кол.
— Это же секс! — он зачичкал. — Да здравствует пол!..
Бесы заметили:
— Ты симулянт. Но довольно.
Здесь ты с ума не сойдёшь, и всегда будет больно.*

Это больше, нежели остроумие. Это диагноз, который с медицинской точностью русский поэт поставил знаменитому еврейскому психоаналитику, апологету педерастии и прочих сексуальных извращений.

Но, конечно, русский человек не мог умолчать и о наших отечественных грешниках — бунтовщиках и предателях России... Предатели Отчизны в поэме не удостоены индивидуальных казней — она у них одинаковая для всех и выглядит ужасно, и страшнее её в аду ничего нет:

*К чёрному солнцу вздымал он дрожащие руки,
Лязгал зубами, не видя уже ничего.
Падали руки, за горло хватая его.
Так на огне и держали обвисшее тело
На посрамленье души, и оно закоптело.
Дым через уши валил из спинного хребта.
Чёрный язык вылезал, как змея изо рта.
.....
Русский предатель. Он душил себя самого.
Так принимает он казнь не от мира сего.*

Это — о Курбском, о Власове, о Мазепе. Всем им — один и тот же приговор. К народным бунтовщикам поэт относится более снисходительно и страдания их изображает с каким-то насмешливым сочувствием. Четвертованный Стенька Разин у него на глазах собирает по частям своё грешное тело, а потом он и его соратники

*Сели в обнимку, запели про дни ретивые,
Как выплывали на стрежень челны расписные...*

А другой знаменитый приговорённый к колесованию бунтовщик вообще выглядит, как шукшинские “чудики”, случайно по незнанию попавшие в ад, о которых можно говорить с добродушной усмешкой:

*С лысой горы вкривь и вкось понеслось колесо.
Мы отскочили, оно мимо нас просвистело.
Спицы мелькали, вертя распростёртое тело.
Что дребезжало от рук и макушки до пят.
На колесе Емельян Пугачёв был распят.
Вихрем созвездий вращалась в глазах его бездна.
— Эх, зашибу! — он кричал, а кому — неизвестно.*

С особой брезгливостью поэт выписал мучения в аду кумиров перестройки.

*Меченый Сахаров, лунь водородного века,
В клетке свободы гугнил о правах человека.
Чёрная крыса его прогрызала насквозь.
Это жестоко, но так у чертей повелось.
И Солженицын, созревший во злобе, томился,
Рыба гниёт с головы. С головы он дымился...*

И, видимо, брезгую назвать фамилию Форосского ренегата, Юрий Кузнецов всё-таки не мог не поместить его рядом с Сахаровым и Солженицыным:

*Только заметив того, кто разрушил державу,
Дьяволу предал народную память и славу,
Я не сдержался. Изменнику вечный позор!
Дал ему в морду и Западом руку обтёр...*

Мне кажется, что эта картина нарисована не без воспоминания о том, что Горбачёв, в каком-то году осмелившийся выставить свою кандидатуру на выборах президента России, во время одной из встреч с избирателями получил “по морде” букетом цветов от женщины, подошедшей к нему во время его выступления.

Да и снижение Запада до образа какой-то тряпки, годной лишь для того, чтобы “обтереть руку”, – явление в русской художественной мысли до Юрия Кузнецова небывалое по сарказму. Роскошный жест позволил себе Поликарпыч, – обтёр руку некогда любимым Западом.

Нужно заметить и то, что в “Сошествии в ад” многие знаменитые лица русской истории (в том числе имеющие репутацию злодеев) по воле поэта удастаиваются своеобразной амнистии, или, скорее, “пересмотра дела”, чего никогда не случается с западными персонажами.

Если у Кузнецова “сумрачный Свифт спёкся в уголь по самые плечи”, то наш Гоголь, попавший в ад, видимо, за чересчур болезненный интерес к нечистой силе и пронсящийся по адским пространствам “в горящем гробу”, тем не менее, “раньше по плечи горел, / а теперь по колена”. Ту же амнистию получает и царь Иван Грозный:

*Слёзы любви источает огонь, как ни странно.
Я увидал на огнище царя Иоанна.*

.....
Прежде по плечи горел, а теперь по колени...

Кроме этой амнистии, Иван Грозный получает ещё одну немислимую для таких, как он, грешников милость: его навещает явившаяся из Рая любимая жена Анастасия и оставляет несчастному платок – его свадебный дар:

Царь зарыдал, свои слёзы платком вытирая.

Ну, и, конечно, подобно Ивану Грозному, такое же “послабление” в адской пыточной получает Иосиф Сталин:

*Встретили Сталина. Он поглядел на меня,
Словно совиная ночь среди белого дня.
Молча окстился когда-то державной рукою,
Ныне дрожавшей, как утренний пар над рекою.
Всё-таки Бог его огненным оком призрел:
Раньше по плечи, теперь он по пояс горел.*

Может быть, за то, что некогда “окстился державной рукою”, за прекращение репрессий против Церкви и православной веры, за восстановление патриаршества, за победу над фашистской Европой приговор Божьего суда ему пересматривается и смягчается. Его соперника по земной борьбе поэт такой амнистии не удостоил, но тем не менее скрыл от посмертного поругания со стороны могущественных врагов:

*Гитлер исчез навсегда. Я имею в виду:
Он в Бабьем Яре сокрыт. Есть такой и в аду:
Тёмная тонкость! Но бесы ответили просто:
— Там не достанут его шулера Холокоста...*

Чтобы понять всю политическую, идеологическую и религиозную глубину знаний и мировоззрения Юрия Кузнецова, конечно же, надо вдумываться, вчитываться в его приговоры героям мировой истории, вынесенные им в “Сошествии”...

Его метафорическая, метафизическая, образная способность определять обнажать, высветлять, выворачивать сущность самых сложных и противоречивых персонажей всемирной сцены поразительна, но закономерна, ибо на вопрос Владимира Бондаренко: **“Верить ли ты сам в своё сошествие в ад?”** – Кузнецов ответил: **“Это действительно было. Поэт сошёл в ад. Если это литература, то поэме моей – грош цена”**.

В его картинах посещения ада в качестве смиренного спутника самого Спасителя всюду чувствуется некая связь с подобного рода опытами, вышедшими из-под пера не только Данта, но и многих других творцов, рисквавших прикоснуться к столь опасным и столь притягательным сюжетам.

Вспомним, как улетают во тьму или в забвенье с нашей грешной земли герои знаменитого булгаковского романа:

“И тогда над горами прокатился, как трубный глас, страшный голос Воланда:

– Пора!! – и резкий свист и хохот Бегемота.

Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и поскакали. Маргарита чувствовала, как её бешеный конь грызёт и тянет мундштук. Плащ Воланда вздуло над головами всей кавалькады, этим плащом начало закрывать вечеряющий небосвод. Когда на мгновение чёрный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушёл в землю и оставил по себе только туман.

Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землёй, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, её болотца и реки, он отдаётся с лёгким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна...”

И каким благодатным светом озарены кузнецовские путники, улетающие в вечность:

*Ангел явился за нами и молвил со вздохом:
— Ваши молитвы дошли и услышаны Богом.
Вера прямит, но им выпал неведомый путь,
Вашим молитвам пришлось сатану обогнуть. —
Вытер он слёзы и взмыл, помавая крылами.
Мы устремились за ним. Он летел перед нами.
Вечная туча пылала, как пламя в ночи,
И задержала для нас золотые лучи.
Мы поднялись в двух последних лучах. Слава Богу!
Он головой покачал и промолвил:*

— В дорогу!

*Где-то под нами осталась крошечная тьма.
Вопли и плачи уже не сводили с ума.
Свет перед нами летел над волнами эфира.
Мне открывалось иное сияние мира.
Полный восторга и трепета, я произнёс:
— Мы над землёй? — Над Вселенной! — ответил Христос.*

* * *

Священник и поэт Владимир Нежданов, с которым Поликарпыч во время работы над поэмами “Жизнь Христа” и “Сошествие в ад” не раз встречался и читал ему новые главы из обеих поэм, отпевавший поэта по его прижизненной просьбе на Троекуровском кладбище, вспоминает:

“Помню последнюю нашу встречу – за неделю до смерти поэта. Мы вышли из редакции “Нашего современника”, был осенний вечер. Только что Юрий Кузнецов читал мне недоконченную поэму “Рай”. И прощаясь, вдруг остановился и спросил: “Знаешь, что последует за этой поэмой?” И, не дожидаясь ответа, выдохнул мне в лицо: “Страшный Суд!” Это были его последние слова в ту последнюю встречу”.

В сущности, Юрий Поликарпыч уже начал осуществлять этот замысел, если считать “Сновидение в ночь на Рождество” началом поэмы. Но вдумаясь в название: не “Сон в ночь на Рождество”, а нечто другое – “Сно-видение”... Что и говорить – замысел был сверхдерзким и сверхъестественным, если вспомнить слова Иисуса Христа о том, что даже он не знает сроков Страшного Суда, что знает их только Бог-Отец... Можно только предположить, что Высшей Воле был негоден подобный замысел и подобное “сно-видение”, и Она спасла поэта от последнего искушения на его земном пути.

Утром 17 ноября 2003 года он собрался на работу, оделся, сел в кресло и вдруг сказал:

- Мне надо домой!
- Юра, ты же дома! – сказала жена.
- Домой! – повторил Поликарпыч...

Это было последнее слово в его жизни. Он умер легко, как и подобает людям из рода-племени, о коих его некогда любимый “итальянский легионер” Петрарка написал несколько слов, поставленных Пушкиным в качестве эпиграфа к шестой (дуэльной) главе романа “Евгений Онегин”: **“Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать нетрудно”**.